

Енисей

№ 1
2015



Красноярский литературно-художественный
и краеведческий альманах



Енисей

№1 * Красноярский литературно-художественный
2015 и краеведческий альманах

Михаил Тарковский главный редактор

заместители
главного редактора:

Сергей Кузнечихин по поэзии

Владимир Замышляев по публицистике
и литературоведению

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Александр Астраханцев прозаик, председатель
Красноярского отделения
Литературного фонда России

Леонид Бердников краевед, председатель
Историко-патриотического
общества «Краевед»;

Иван Булава прозаик, первый секретарь
Сибирского представительства
Союза писателей России и Белоруссии

Иван Клиновой член Союза российских писателей

Марина Москалюк доктор искусствоведения, профессор,
директор КГБУК «Художественный
музей им. В. И. Сурикова»

Михаил Северьянов профессор, доктор исторических наук



Красноярск
ИД «Класс Плюс»

ББК 84 (2 Рус = Рос)

Е 63

Альманах выходит благодаря
финансовой поддержке министерства
культуры Красноярского края.

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

В оформлении обложки
использован фрагмент картины
Сергея Варыгина «Май 1945».

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,
Дом искусств

Вёрстка: Олег Наумов
Корректор: Андрей Леонтьев
Ответственный секретарь:
Александр Ёлтышев

Подписано в печать: 16.06.2015
Тираж: 500 экз.
Формат: 70×100/16
Объём: 16,25 + 0,65 вкл. усл. печ. л.

Отпечатано в ИД «Класс Плюс»
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65
(строение 23) | т. (391) 2-59-59-60
e-mail: info@kacc.ru

ISBN 978-5-905791-37-6

Содержание

Слово редактора 5

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Иван Булава *Речники Енисея в годы войны* 7

Михаил Тарковский *Ветераны Бахты* 22

Владимир Замышляев *Культура в тылу
и на фронте* 29

Фёдор Жамалов *Мой дед воевал за меня* 33

Виктория Мальцева *Бабушка вспоминает...* 34

Виталий Пырх *«Взвейтесь, соколы, орлами...»* 35

ПРОЗА

Владимир Селянинов *Тяжёлая поступь гордыни* 43

Роман Сенчин *Ничего личного* 50

Владимир Нестеренко *Озарение* 77

Ксения Гугова *Опять петухи
во дворе раскричались* 95

Олег Нехаев *Ущербный месяц* 101

ПОЭЗИЯ

Пётр Коваленко 110

Ольга Гуляева 116

Дарья Верясова 121

Николай Ерёмин 127

Михаил Мельниченко 132

Светлана Ермолаева 137

Алексей Карнаухов 141

Алексей Ерошин 145

Захарчук Евгения 152

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

Александр Щербаков *А мы звали его Вале́й...* 157

Капитолина Кокшенёва *Царский листвень* 161

Алексей Шорохов *О символизме
в прощании с Распутиным* 167

ИНТЕРВЬЮ

Юрий Беликов, Мария Корякина-Астафьева
«Не у каждого жена Марья» 169

ФЕСТИВАЛЬ

Василий Авченко *«КУБ» рулит!* 175

Мария Вагутина *Фронтальная тетрадь* 177

Авторы 194

Слово редактора

Юбилей Великой Победы... Сколько лет прошло с мая сорок пятого года, а мы отмечаем эту дату и каждый раз с тревогой думаем: а хватит ли сил и бережности у наших потомков отмечать этот праздник так же, как и мы? Так, как будто война была вчера? Как будто и сейчас валяются по полям гильзы от снарядов, похожие на огромных ржавых кальмаров? Будто сосны так же качают на ветру отстрелянными вершинами?.. Не притупится ли это чувство, не остынет, не загородится другими событиями? Ведь всё проходит... Никто особо и не отмечает победу над Наполеоном. Значит, остывает, покрывается корочкой боль... Становится книжной, исторической...

Когда размышляешь над нашей историей, поражаешься, насколько миролюбивой всегда была наша Россия. Не ходила с завоевательными походами на полмира, не насаждала мечом веру, во время освоения Сибири и Дальнего Востока не уничтожала, как европейцы в Америке, коренные народы. Только сама терпела нашествия — то с Востока, а больше с Запада. Да спасала цивилизованный мир от агрессоров.

Ничего и не изменилось. За Великой Отечественной войной пришла война холодная, потом, подточенная и изнутри, и снаружи, рухнула наша великая империя. Казалось бы, всё. Успокоиться бы нашим недругам. Но нет. Не берёт мир. Идёт духовная война, продолжается идеологическая интервенция, разрушаются фундаментальные национальные основы, формировавшиеся на протяжении православного тысячелетия, в годы советской власти. Россия, сибирские богатства не дают Западу покоя. Хотя, мне кажется, дело больше в нашем глубинном несогласии с новым мировым порядком, с двойными стандартами, с политикой силы и навязывания собственных ценностей. И вот неумолимо приближаются границы НАТО, пылает Украина, продолжается раскол русского мира... Долго ли так будет?

Почему-то приходит ответ из фильма «Андрей Рублёв»: «Всегда... наверное». Видно, судьба у нас такая — не ждать подмоги, терпеть, потягивать пояса, не жалеть себя и повторять: не впервой...

Оно и вправду не впервой. И всегда первым ложится костью простой народ.

Фёдора Михайловича Достоевского поразила судьба Фомы Данилова — унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового батальона, погибшего «за веру, царя и Отечество» во время мятежа в Коканде в 1875 году. «Напрасно вы... надрываетесь, ничего с меня не возьмёте,

а хотите убить, так убейте». По приказанию Абдул-Мамына его связали и привязали к доске. Фома перекрестился, насколько позволяли связанные руки, и двадцать пять сипаев дали по нему, как сказано в источнике, «неправильный залп», стремясь не убить, а тяжело ранить. Стреляли почти в упор. Двадцатидевятилетний герой жил ещё около часу. Пощады он не попросил. Смерть воина Фомы произвела огромное впечатление на местных жителей, которые говорили, что «русский солдат умер как батыр».

Более ста лет спустя появился воин-мученик Евгений Родионов. На требование сменить веру и снять крест ответил отказом и был обезглавлен живым. Сколько их таких...

По официальным данным, за годы войны на фронт ушло 455 тысяч красноярцев, 165 тысяч из них не вернулись домой. Сибиряки сражались на всех фронтах Великой Отечественной, во многих партизанских отрядах, действовавших в тылу оккупантов. Тысячи красноярцев за мужество и отвагу были награждены орденами и медалями. Пятьдесят пять наших земляков стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, а 183-м присвоено звание Героя Советского Союза. С праздником вас, дорогие сибиряки!

Михаил Тарковский

Иван Булава

Речники Енисея в годы войны

В последние годы, особенно сейчас, появилось немало фальсификаторов исторических событий, которые по незнанию истории или политически целенаправленно, в угоду желающим переписать её, грубо искажают действительность, уничтожая исторические памятники. Семидесятилетие Победы — это дата, когда надо остановиться, оглянуться назад, освежить в памяти героическое прошлое, рассказать молодёжи, как это было.

Большой, очень ценный материал о событиях того времени, много документов, в том числе и подлинники, собрано и бережно хранится в музее истории и развития судоходства в Енисейском бассейне.

Наиболее полная документальная книга о енисейских речниках в годы войны — «Фронт и тыл Енисея», изданная Красноярским книжным издательством, автор и составитель — участник войны Иван Андреевич Туренко. Вот как он освещает начало войны: «22 июня 1941 года фашистские самолёты уже бомбили наши города и сёла, уже танковые колонны гитлеровцев рвали наши фронты и устремлялись стальными потоками на восток, а красноярцы ещё ничего об этом не знали. Воскресный день начинался мирно. Но уже были подняты с постелей звонками из Наркомречфлота начальник пароходства И. Т. Назаров и начальник политотдела Смолянинов. Уже разворачивали работы военкоматы и вступил в силу мобилизационный план. А потом заговорило радио: „Работают все радиостанции Советского Союза“. Прозвучало обращение советского правительства к народу. Оно заканчивалось словами: „Наше дело правое — враг будет разбит! Победа будет за нами!“ Вместе с другими красноярцами уходили на войну и многие речники-добровольцы. Состоялись патриотические митинги на всех предприятиях Енисейского пароходства, в экипажах судов, где люди единодушно поддерживали правительство, записывались добровольцами на войну, в ополчение. Сразу после митингов подали заявление о зачислении добровольцами главный бухгалтер пароходства Г. А. Богданов, радисты Дышаев и Крикунов, капитан самого мощного на Енисее теплохода „Валериан Куйбышев“ А. Н. Здоров, помполит теплохода „Владимир Ленин“ и механик этого судна Демидов и А. Вакутин, которые телеграфировали из рейса: „Прошу добровольцами направить нас в ряды Красной Армии“. А капитан этого судна Е. К. Крылов в заявлении писал: „Прошу зачислить меня в отряд народного ополчения. Рождения я 1883 года, но, невзирая

на это, если понадобится, с оружием в руках буду защищать Родину от фашистов“. Аналогичного содержания телеграммы направили практически все экипажи судов. В первые дни войны более тысячи работников пароходства, судоремонтного завода, судовой верфи, Красноярского порта вступили в подразделения народного ополчения. Оставшаяся в тылу молодёжь по решениям Государственного Комитета Обороны и Красноярского комитета ВКП(б) в сентябре 1941 года начала заниматься на курсах военной подготовки».

Параллельно с основной деятельностью — судостроение и судоремонт — все промышленные предприятия приступили к изготовлению продукции для фронта. Красноярская судовой верфь освоила изготовление ящиков для упаковки мин, которые выпускали многие промышленные предприятия города Красноярска, в том числе судоремонтный завод. Кроме того, Красноярская судовой верфь получила важное задание: приступить к производству минных тральщиков с деревянными намагниченными корпусами. Целое соединение кораблей на Чёрном море было укомплектовано тральщиками производства Красноярской судовой верфи. На Красноярском судоремонтном заводе успешно был освоен выпуск огнемётов — оружия для борьбы с танками противника. В 1942 году началось строительство бронекатеров, которые обладали большой мощностью: два двигателя по 800 сил имели длину 28 метров, ширину 4 метра, высоту борта 2 метра, осадку 0,6 метра, скорость 28 узлов (1 узел равен 1,852 километра в час). Вооружение — две танковые пушки Т-30, одна спаренная установка пулемёта Дегтярёва. На бортах и на рубке закреплены броневые плиты. Всего было построено пять таких судов. Один для Амурской, три для Дунайской и один для Азовской флотилий.

Воспоминания участников Великой Отечественной освещают отдельные события тех времён. Мало воинов, доживших до 70-летия Победы. Один из них, Иван Васильевич Дементьев, награждённый орденом Александра Невского, рассказывает:

«Когда началась война, я проходил срочную службу в артиллерии, во взводе разведки. К этому времени, после окончания Красноярского речного техникума, успел поработать штурманом на пароходах. Подготовка в техникуме впоследствии хорошо помогла, особенно знание физики и электротехники. Перед войной на вооружение артиллерийских частей начали поступать легендарные „катюши“. Их выпускали на автомобильном и танковом шасси. Я был в числе первых, кого отправили в Москву, на завод „Компрессор“, для приёма и получения „катюш“. В нашу часть распределили „катюши“ на танковом шасси.

Военный представитель на заводе провёл с нами получасовую беседу, и мы приступили к приёму. Никакой документации нам не дали, до многого мы доходили своим умом. У меня была подготовка в техникуме, и мне было проще разбираться в тонкостях боевой

техники. А вот большинство из нас были призваны из сельской местности, некоторые работали на тракторах, им было труднее. До войны из „катюш“ шибко не постреляешь, разрешали использовать на учениях только три снаряда, отчитывались гильзами. Но зато нам очень доходчиво вдолбили, что два ящика зарядов были неприкосновенным запасом. Его должны использовать только для подрыва и уничтожения „катюши“ при риске захвата её врагом. Когда началась война, снарядов не жалели, на танках приближались при любых условиях местности к линии фронта в нужном месте и накрывали площади, не оставляя ничего живого и боеспособного. После налёта тут же меняли позиции. „Катюши“ на автомобильном ходу были более уязвимы, им подавай хороший подъезд. Они занимали боевые позиции подальше от фронта, их эффективность была ниже. Первую боевую награду, медаль „За отвагу“, я получал за Сталинградскую битву. Горжусь ею и больше всех её ценю — вручал сам Рокоссовский. Правда, мои товарищи, командиры взводов, за те же результаты награждены орденами. Они были члены Коммунистической партии, а я всё тянул, несмотря на предложения парторга. Потом вступил, фронтовикам не требовалось рекомендаций и характеристик. Здесь же, в порядке исключения, мне было присвоено офицерское звание „младший лейтенант“.

Тяжёлые бои шли за Киев и форсирование Днепра. После этих боёв наша дивизия стала гвардейской — Житомирской. Я в числе многих командиров получил орден Отечественной войны II степени. В одной из сложных операций наша часть была вынуждена отступить. По каким-то причинам одна из „катюш“ была оставлена на нейтральной полосе. Меня вызвал командир полка и дал задание: во что бы то ни стало „катюшу“ притащить или взорвать. Другого не дано. Для обеспечения операции дали взвод солдат, автомобиль ЗИС-5, и мы после соответствующей подготовки пошли. Расстояние — тридцать километров. Под покровом темноты взяли на буксир сломанный танк и потащили. Под горку танк катится, а вот в гору — не хватает мощи, и тогда подключается живая сила. В общем, на пределе сил танк с „катюшей“ дотащили. Немцы хватились потом, когда с рассветом на месте не оказалось объекта, который в бинокли распознать не успели. И тогда началось с той и другой стороны. За эту операцию мне повысили воинское звание, предоставили отпуск на тридцать дней и путёвку в офицерский санаторий под Москвой, „Раменское“. По прибытии в часть мне вручили орден Александра Невского.

До конца войны были ранения, контузии, госпиталя. После войны вернулся на родной Енисей. Моя работа на Енисее тоже была продуктивной. В ознаменование столетия Енисейское пароходство награждено орденом Ленина, а меня наградили орденом Октябрьской Революции. К пятидесятилетию Победы я был награждён орденом Отечественной войны I степени».

Организованно началась навигация 1941 года. Флот по графикам вооружали, принимали в эксплуатацию, отправляли в рейс. Вот как вспоминает это время Н. Н. Балакин, в то время второй штурман теплохода «Сергей Киров»:

«Обновлённый после капитального ремонта и смены главных двигателей теплоход „Сергей Киров“ стоял в полной готовности выйти на Дудинку с большим караваном гружёных барж. До этого он сделал несколько рейсов на короткой линии для обкатки двигателей и механизмов. Капитан М. А. Чечкин задержался в Управлении парохозяйства, уточняя детали предстоящего рейса. Внезапно смолкли непрерывно работающие радиодинамики. Голос Левитана предупредил о передаче важного правительственного сообщения. Началась Великая Отечественная война.

С этого момента жизнь разделилась: всё что было — это „до войны“, жизнь сегодня — военное время. Последовала мобилизация всех военнообязанных на войну. Военкоматы были переполнены добровольцами на фронт и в ополчение. Отход в рейс теплохода „Сергей Киров“ был задержан. Часть экипажа в этот же день ушла на призывные пункты, некоторые получали бронь. С недоукомплектованным экипажем теплоход ушёл в рейс на Дудинку. Фронтоников повсеместно заменяли женщины и подростки.

Жизнь круто меняла направление. В основу её ставилось: „Всё для фронта, всё для победы!“ Ужесточились требования к исполнению трудовой дисциплины, менялся режим труда, широко начали применять труд подростков. Там, где вчера были ограничения, сегодня, хотя их никто не отменял, они разумно отошли на второй план.

Понятия „пассажировместимость“, „район плавания“, „сроки закрытия навигации“ и другие также отошли на второй план. Действовали по сложившейся обстановке. „Так надо!“ — звучало для всех одинаково. Главным показателем для Енисейского парохозяйства стало доставить все предъявленные к перевозке грузы из Красноярского порта — до Дудинки для Норильского комбината, в обратном направлении — цветной металл. В Игарку — плотами круглый лес с ангарских и енисейских леспромхозов».

До войны сплав леса на Игарку производили плотовые команды без буксировщиков. Большая аварийность на сплаве и долгое время доставки, многочисленность плотовых команд заставляли искать более эффективные методы организации труда. В начале войны на сплаве транзитных плотов начали применять буксирную тягу. Опытные капитаны стали водить спаренные плоты — эффективность возросла многократно. В эту пору из капитанов и штурманов начали вырастать плотоводы — особая каста судоводителей, хорошо знающая все особенности специальной лодии Енисея. Самым сложным участком реки для сплава был Осинковский порог. С именем капитана

М. Е. Лиханского связана проводка плотов через порог буксирами. Вот как вспоминает начало войны Михаил Елиферьевич:

«В тысяча девятьсот тридцать восьмом году я был репрессирован по ложному обвинению, и полтора года меня продержали в тюрьме, моё место капитана теплохода „Красноярский рабочий“ было занято. Другой подходящей должности не дали, видно, побаивались „шпиона“. Тогда я согласился с предложением сплавконторы „Севполярлес“ стать начальником эксплуатации флота. Переехал в Енисейск. В тот день, двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, я вернулся с проводки трёхленточного плота до Игарки. Едва сошли в Енисейске на берег — навстречу телеграфист. „Война!“ — кричит. Мы скорей в контору. А там мужики в военкомат собираются. Директор И. А. Сизых, главный инженер С. И. Петров и другие толкуют, что все дела на меня оставляют: я, мол, старый, в армию меня не возьмут, — а сами быстренько разгромят фашистов и вернутся».

Потом Михаил Елиферьевич стал в пароходстве главным по сплаву и наставником, теоретиком и практиком.

Первая военная навигация для теплохода «Сергей Киров» закончилась зимовкой в устье речки Полой. Об этой зимовке подробно пишет Н. Н. Балакин в очерке «Рейсы военных лет»:

«Хотя норильских грузов в Красноярском порту не осталось, теплоход „Сергей Киров“ вышел из Красноярска с большим караваном в начале октября последним. По всем признакам было видно, что приближаются ранние холода. Боковые реки начали выбрасывать шугу. Частые снежные заряды, обильные снегопады в низовьях, устойчивые низкие температуры и плохая видимость задерживали продвижение каравана. Вода быстро охлаждалась. После Курейки появились большие ледяные поля, которые резко ухудшили продвижение. То и дело шкиперы на мачтах барж стали поднимать вымпелы, свидетельствующие о появлении водотечности. Аварийная команда во главе с боцманом выезжала на лодке для ликвидации повреждений. Буксировщику часто приходилось сбавлять ход и огибать ледяные поля.

Капитан М. А. Чечкин собрал командный состав в кают-компании, чтобы обсудить создавшееся положение. После обстоятельного анализа ледовой обстановки капитан предложил стать на зимовку вблизи устья речки Полой. В пользу безопасного отстоя каравана в период зимовки и весеннего ледохода Михаил Алексеевич привёл ряд аргументов, главный из них: при подъёме воды есть возможность завести караван в речку. Свои опасения высказал первый штурман Г. А. Бояринцев, опытный судоводитель, получивший хорошую практику у старых лоцманов. Его доводы были довольно убедительны. Однако особенности ледохода на этом участке, толщина льда, колебания уровней воды, отсутствие наледей, наличие населённого пункта говорили о том, что Михаил Алексеевич детально продумал предстоящую зимовку. Он решил использовать течение реки для

проведения ледовых работ и заводки каравана в речку, когда будет прибывать вода. Командный состав поддержал его.

С большим трудом сделали оборот и с точностью до десяти метров в нужном месте выше устья поставили караван на якоря. На другой день с рассветом капитан собирает экипаж, распределяет его по бригадам, назначает бригадиров, ставит первоочередные задачи перед каждым из них. Строительство дороги на склады местного совхоза, подготовка помещений для складирования грузов, в том числе боящихся морозов. Подготовка площадки для приёма самолётов, ремонтные и хозяйственные работы. Уже в начале ноября прилетел из Игарки первый самолёт. На нём прибыли начальник Игарского порта И. М. Краохин и представитель Норильского комбината. Все вопросы начали решаться на месте: складирование продовольственных грузов, переселение плавсостава на постой в деревню Полой, забой крупного рогатого скота из-за отсутствия кормов, отправление на „большую землю“ плавсостава по уважительным причинам.

Забой скота и его свежевание привлекли к этому месту множество песцов со всей округи. Они как будто чувствовали свою безопасность и действовали нахально, не боясь человека. В отличие от волков, песцы и зайцы живут дружно, почему в окрестностях их тоже было много. На зайцев охота была разрешена, и некоторые умельцы из команд теплохода и барж сами изготавливали и ставили петли. Добыча была хорошим подспорьем для организации коллективного питания.

Первая зимовка в Полое была благополучной благодаря всесторонне обдуманному месту зимовки и хорошей подготовке к весеннему ледоходу. Все суда были околоты сухими канавами, с помощью проходных колодцев отремонтированы подводные части, своевременно сделана майна (двор) в корме судна, сделан канал во льду для заводки его в речку. Суда необходимо было надёжно учалить за мертвяки (толстое листовое бревно, за которое крепится трос с петлёй, закапывают в грунт на глубину до полутора метров, утрамбовывают землю). За него крепят судно, не допуская слабину троса. Всеми работами на караване руководил капитан. В любой обстановке он не повышал голос, не распекал, не любил митингов. Всегда вёл себя сдержанно, доходчиво и кратко умел довести задание. Его всегда понимали. Он успевал везде, где замечанием, где подсказкой, а где собственным примером.

Однажды выбирали большую (вспомогательный буксирный трос), которая засорилась под лёд, и четыре человека с великим трудом её вытаскивали, дёргая сантиметров по тридцать. Подошёл Михаил Алексеевич и, надев рукавицы, которые на караване всегда были при нём, как нам показалось, легко поднял трос и ходом его потащил. В начале июня 1942 года, после благополучного отстоя от ледохода, караван прибыл в Игарку. В Красноярском порту эти суда смогли стать под погрузку только во второй половине навигации. К этому

времени в порту скапливалось большое количество порожних барж, которые зимовали в Подтёсово, Павловщине, Пискуново, Кононово и других местах. Ремонтные базы в них были слабыми, и многие суда с приходом в Красноярск ставили на повторный ремонт.

К этому времени шло массовое накопление грузов. Механизация в порту практически отсутствовала. Вся погрузка велась вручную заключёнными. На погрузке одной баржи работало до тысячи человек. Здесь, в порту, было отделение Норильлага, через которое в июне-сентябре прошло девять тысяч человек. Насколько обстановка была тревожной и сложной, можно судить по возникшей переписке: „Москва Наркомвод Дашкову зпт Москва НКВД Завенягину. Положение перевозкам грузов исключительно тяжёлое тчк ЕнУРП Назаров не выполняет Постановление ГКО тчк На первое сентября перевезено 51 тысяча тонн зпт остаётся ещё перевезти 34 тысячи тонн тчк Настоятельно прошу приказать ЕнУРП Назарову выполнить решение ГКО зпт безоговорочно перевезти оставшиеся 34 тысячи тонн тчк Панюков 30.08.42 г.“»

Не сложилась в этом году арктическая навигация. В район Карского моря незаметно прошли немецкий тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер», обнаруженный ледокольным пароходом «Александр Сибиряков», и около десяти подводных лодок, которые начали ставить мины в Западном секторе Арктики Северного морского пути, топить гражданские суда и обстреливать метеостанции. Были потоплены ледокольный пароход «Александр Сибиряков», грузовые пароходы «Куйбышев», «Щорс», подорвался на mine пароход «Тбилиси» В этой связи вся тяжесть материально-технического обеспечения Норильска ложилась на речников.

Не случайно в 1942 году сделана попытка разгрузить Красноярский порт, запустить грузопоток через Обь-Енисейский канал. Для всестороннего изучения этого пути была организована экспедиция в составе пароходов «Капитан», «Механик», «Пограничник» и «Газоход-25». В экспедицию набрали около ста человек разных специальностей, среди которых были гидротехники, плотники, разнорабочие. Как известно, строительство канала было закончено в 1893 году. Однако использование его было эпизодическим. Был проект перестройки канала, длиной шлюза 107 метров, шириной 5,2 метра, глубиной 1,7 метра. Однако Первая мировая война помешала осуществлению этого проекта. Экспедиция 1942 года закончилась в Новосибирске через четыре месяца после её начала и убедила организаторов в невозможности успешной его эксплуатации.

Речники делали всё возможное, чтобы отправить из Красноярска все грузы. Судя по телеграмме А. А. Панюкова — директора Норильского комбината, датированной 18 октября 1942 года, последний гружёный флот на Дудинку ушёл в этот день чуть ли не на две недели позже средних многолетних сроков. Надо полагать, и капитаны, и руководство пароходства надеялись дойти хотя бы до Игарки.

Последним из Красноярска уходил пароход «Папанин» под управлением капитана А. Е. Фадеева с тремя баржами на буксире. Этот караван ожидал в Енисейске теплоход «Клим Ворошилов» (капитан А. Н. Здоров). Две баржи были груженые разными грузами, в том числе продовольственными и промышленными товарами, а третья — заключёнными. Так как загрузка баржи только людьми по осадке судна была недостаточна, на палубу погрузили ещё и металл. Караван барж был сформирован пыжом, в середину была поставлена баржа с людьми. На её палубе разместился конвой. Отошли в рейс при низких горизонтах воды по всему Енисею. На Атаманово-Шиверских перекатах крайняя баржа получила повреждение корпуса, её вычалили из состава и вытолкали на отмель. Остальной состав продолжал движение вниз.

На Предивинском перекате начала заполняться водой и баржа с людьми. Вот как рассказывал об этом случае очевидец происходивших событий В. Я. Миутский, который был в числе заключённых на той барже:

«Заклучённые были размещены в основном на дне трюма баржи, на нарах. Обнаружили затопление, когда вода начала заливать нижние нары. Поднялась страшная паника, и люди все сразу бросились к трапу на выход. Но, увы, люки трюмов были плотно закрыты железными решётками. Требовалось время, чтобы охрана разобралась, в чём дело, и начала выпускать из трюмов заключённых».

Механик служебного судна начальника пароходства М. Л. Соловьёв рассказывал, что погибших вытаскивали из трюма и укладывали штабелями на палубу. В основном они были затоптаны в давке на трапах и падали в воду. В. Я. Миутский спасся, забравшись высоко под самую палубу. Рассчитал правильно: укрылся в подволоке баржи — была надежда, что его здесь не затопчут и не затопит водой. Впоследствии Миутский возглавлял бригаду слипа Подтёсовской ремонтно-эксплуатационной базы.

В газете «Речник Енисея» за 5–11 февраля 1999 года напечатана статья шкипера А. Дьякова «Смертоносная баржа». Он подробно описывает трагедию на барже №46, которая далеко распространяла зловонный запах, из-за чего получила и другое название — «Параша». История поведена со слов заключённого Н. Залепухина, который был этапирован на этой барже. Впоследствии он долгое время работал шкипером. Залепухин был спасён благодаря тому, что смог забраться на спину крупного мужика, наружность которого запомнил. Потом он работал в бригаде, вытаскивавшей из трюма утонувших, и опознал этого человека.

А вот ещё один рассказ — П. П. Борейши, в газете «Речник Енисея» от 29 ноября — 5 декабря 2002 года. Он работал в то время матросом на пароходе «Островский» (капитан А. Н. Чекизов). Ему не было и шестнадцати лет:

«Мы подошли корпусом к стоящей носом в берег барже №46, полузатопленной у деревни Предивная. На барже, кроме команды, находились четыре охранника. Вместе с охранниками команда парохода „Островский“ настроила шланги и приступила к откачке воды из трюма баржи. Разговорились с охраной о произошедшем случае, и вот что рассказал один из них: „Рейс проходил благополучно. Не доходя до деревни Атаманово, гружёная баржа номер восемьсот тридцать, зачalenная за нашу сорок шестую, на каменистом перекате получила повреждение и начала тонуть. Шкипер стал кричать и махать флагом. После выхода с переката сделали оборот и поставили полузатопленную баржу к берегу выше деревни. Пароход «Папанин» продолжил рейс с двумя баржами. Глубокой ночью почувствовали толчок, затем — другой, тросы на кнехтах заскрежетали, и сразу всё стихло. Никто не придавал этому значения. Позже выяснилось, что баржа получила повреждение и вода начала затапливать трюм. Проснувшиеся на нижних нарах люди в панике, с криком «Тонем!» бросились к люкам, закрытым железными решётками. Взломав решётки, пытались спастись на палубе. К сожалению, мы, конвоиры, в первый момент не поняли — посчитали, что спровоцирован бунт, и применили приклады автоматов. Оглушённые ударами люди падали в трюм и тонули. В ужасе, с криками о помощи, с проклятиями и матерщиной они стремились убедить нас в том, что баржа действительно тонет. В кромешной тьме при помощи фонарей и карманных фонариков мы убедились в этом и разрешили заключённым подниматься на палубу“.

Более тысячи человек спаслись, поднявшись на палубу, около трёхсот человек погибли. Подойдя к Предивной, пароход „Папанин“ сделал оборот и поставил аварийную баржу к берегу. Команда баржи совместно с охраной настроила мостки, по которым заключённых перевели на берег, в помещение клуба и в один из двухэтажных домов».

Причина затопления баржи не установлена. Существует и такая версия: заключённые готовили побег и вырезали большое отверстие в борту судна, но просчитались. Вырез оказался ниже ватерлинии. При выдавливании борта вода хлынула в трюм. К сожалению, нигде в Красноярске документальных материалов об этом аварийном случае разыскать не удалось. Их не оказалось в архивах судоходной инспекции и Енисейского пароходства. Они могли быть только в архивах прокуратуры Норильлага и Норильского комбината. Там нашли докладную записку заместителя начальника Норильского комбината (НК), лейтенанта госбезопасности В. С. Еяна начальнику НК и ИТЛ НКВД А. А. Панюкову «Об итогах перевозок в навигацию 1942 года грузов по Енисею» (арх. трофей А. Б. Макаровой). В этой докладной отмечается, что на барже №46 было 1669 заключённых, из них погибло 26 человек. Там же указывается, что караван парохода «Папанин» сопровождали Назаров — начальник пароходства, Мясников — начальник Восточно-Сибирского управления речного

транспорта, Смолянинов — политраблотник пароходства. Все они следовали на служебном теплоходе и остановились в ночь трагедии в деревне Предивная. Приведённые в записке данные о количестве заключённых, погибших на барже №46, надо полагать, наиболее достоверные.

Капитан А. Е. Фадеев продолжил свой «полосатый рейс». В Казачинском пороге он повредил последнюю баржу буксируемого состава и вынужден был остановиться в деревне Пискуново для её разгрузки. Неудачный рейс парохода «Папанин» под управлением капитана Фадеева наводит на многие размышления. Почему не судили капитана за аварию? Ведь был август 1942 года. Почему в архивах не сохранилось никаких документов по расследованию? К сожалению, до нас дошли одни рассказы очевидцев уже во втором пересказе. Со слов ветеранов, пароход «Папанин» был тяжёлым в эксплуатационном плане буксиром. Паровая машина — тройного расширения, два паровых котла давали мощность 800 л.с., однако гребные колёса вращались медленно. Это значительно ухудшало манёвренные и тяговые качества судна. Его чаще использовали на нижнем плёсе, от Енисейска. По словам современников, пароход за рейс делал несколько посадок на мель. Кто тут больше виноват — капитан или пароход, сказать трудно. Однако капитан, говорят, отлично составлял аварийные акты.

Ещё более ранний ледостав осенью 1942 года остановил в плёсе на случайные зимовки более пятидесяти самоходных и несамоходных судов. В районе Сухой Тунгуски остановились из-за ледовой обстановки теплоходы «Клим Ворошилов» (капитан А. Н. Здоров) и «Красноярский рабочий» (капитан М. М. Мутовин) с общим количеством барж более двадцати и груза около двадцати тысяч тонн. В Полое на случайную зимовку остановился теплоход «Валериан Куйбышев» с караваном (капитан П. Я. Таскин), в устье Курейки — теплоход «Владимир Ленин» с караваном (капитан Е. К. Крылов). Оставив свой караван в устье реки Сухая Тунгуска, теплоход «Красноярский рабочий» ушёл вверх и зазимовал у реки Ботовой вместе с теплоходом «Серго Орджоникидзе» (капитан Н. А. Шангин). На всех зимовках отстой флота закончился благополучно, кроме Сухой Тунгуски.

К весне 1943 года не все суда в Сухой Тунгуске были выгружены. Во время отстойных работ при заводке барж в речку Сухая Тунгуска подвижкой на Енисее был повреждён практически весь зимовавший здесь флот. Вот как рассказывает об этом очевидец тех событий — механик теплохода «Клим Ворошилов»:

«Ближе к весне в районе речки Сухая Тунгуска в природе произошли события, которые наблюдались впервые. Необыкновенно раннее тепло пришло в эти места. Пробуждалась природа, началось таяние снега, появилась наледь, хотя на Енисее была обыкновенная зима. Ночью на караване проснулись от треска, криков. Кто в чём выскакивали на палубу. Творилось что-то невероятное. На глазах вырастали

громадные торосы, Енисей вздыбился стенами движущегося льда. Баржи начало крушить, будто спичечные коробки. Зазимовавший на одной из барж скот разрушил загородки, много животных погибло. На одной барже были химические грузы, способные самовозгораться в воде. Отсюда пламя, дым. Из тридцати двух барж уцелело только четыре. Льдом унесло и затопило пароход „Амур“, были повреждены корпус и винты теплохода „Клим Ворошилов“. Через два дня после катастрофы Енисей успокоился, и месяц спустя ледоход уже проходил в обычные для этих мест сроки».

На остальных зимовках повреждения тоже были, но все суда впоследствии отремонтировали. Катастрофа же в районе реки Сухая Тунгуска не осталась незамеченной. Ответственным за спасение самого нужного груза и его доставку в Норильск авиацией, санно-тракторными поездами, оленьими обозами и собачьими упряжками был назначен заместитель директора Норильского комбината. Для выполнения всех отстойных и грузовых работ из Норильска на место зимовки была дислоцирована колония исправительно-трудового лагеря. Старшим руководителем всех отстойных работы был назначен молодой, но способный, имевший опыт капитан теплохода «Клим Ворошилов» А. Н. Здоров.

Был привлечён к ответственности начальник пароходства И. М. Назаров, хотя вины его в раннем ледоставе и позднем выходе в рейс на Север караванов не было. Ответственность за место выбора отстоя в устье реки Сухая Тунгуска взял на себя В. В. Ильинский, начальник службы эксплуатации пароходства. Иван Михайлович, можно сказать, родился под счастливой звездой: за него вступился нарком З. А. Шашков, который обратился к В. М. Молотову. Резолюция Молотова не была расстрельной. И. М. Назарова понизили в должности, затем он возглавил Центр деревянного судостроения, а потом был назначен начальником Западно-Сибирского пароходства. В 1947 году Иван Михайлович вернулся в Енисейское пароходство

Вспомнил об этой катастрофе Иван Михайлович в 1970 году, во время прощального на Енисее рейса с писателем, своим другом Георгием Кублицким. Проходили устье Сухой Тунгуски, и Кублицкий в бинокль рассматривал высокий яр, где можно было увидеть остатки той ужасной катастрофы: элементы конструкций барж, замытых песком и поросших кустарником, следы недостроенной дамбы.

«Мне пришлось побывать на месте крушения сразу после ледохода. Много в то время там можно было найти,— задумчиво вспоминал Иван Михайлович.— В ходе расследования мне грозили смертной казнью. Неудивительно в условиях военного времени. Много тогда мной было передумано и пережито». — «Иван Михайлович! Вы бы написали об этом, известны ваши способности показать остроту момента, а также характеры и поступки людей», — посоветовал Кублицкий. «Да, наверное, наступило такое время. Вернусь из этого рейса —

сяду за книгу с условным названием „Тридцать пять лет на Енисее“. Там и будет место для очерка „Катастрофа в устье Сухой Тунгуски“».

Не спал Иван Михайлович в ту ночь перед полярным кругом. Сквозь полудрёму, как будто это было вчера, перед ним вставали те давние события. Он снова видит буйство стихии многолетней давности — картину ледяного цунами: горы навороченного льда, брошенные друг на друга с проломанными бортами баржи, одна из которых была в полувертикальном положении. Вытолканный льдом на берег теплоход «Клим Ворошилов» с покорёженной кормой, рулями и винтами; везде разбросанный груз: бочки, тюки, пакеты, мешки; погибший скот; оборванные якоря с цепями, брашпили. Дополнял картину едкий запах тлеющих очагов возгораний от попавшего на месиво льда карбида кальция.

Погибло несколько человек. Почти все члены экипажей судов и отстойных бригад жили в одноимённой деревне Сухая Тунгуска, поэтому массовых жертв не произошло. Теплоход «Амур» с большими повреждениями унесло в Мельничные камни, где он затонул. Потом его норильчане подняли, отремонтировали и назвали «Степан Веребрюсов» — именем лётчика, который обслуживал Норильский комбинат и погиб на фронте.

На место катастрофы с окрестных деревень начала приходить помощь в разборе завалов и спасения хотя бы части груза. Только из Туруханска прибыло двести человек. Из Красноярска с участием Ивана Михайловича и руководства комбината прибыла московская комиссия вместе с разного ранга прокурорами и дознавателями.

Вот тогда-то в беседе-полудознании со следователем и прозвучало, какая ответственность грозит Ивану Михайловичу за катастрофу таких масштабов в условиях военного времени. Он и сам понимал, что за это бывает.

Усугубляло положение Ивана Михайловича и то, что ещё не просохла чернила Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 года «О введении военного положения на всех железных дорогах». Действие Указа с 9 мая этого года распространялось на Наркомморфлот, Наркомречфлот, Главное управление Северного морского пути при Совнаркоме СССР. Указ гласил:

«В целях введения строгого порядка на речном транспорте и обуздания недисциплинированных, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Объявить все речные пароходства на военном положении.
2. Всех рабочих и служащих речного транспорта на период войны считать мобилизованными и закрепить их для работы на речном транспорте.
3. Установить ответственность работников речного транспорта за преступления на службе наравне с военнослужащими Красной Армии.

4. Дела обо всех преступлениях, совершённых на речном транспорте, рассматривать в военных трибуналах речных пароходств по законам военного времени.
5. Рабочих и служащих речного транспорта за преступления по службе по решению военного трибунала увольнять с работы с направлением на фронт в штрафные роты, если они не подлежат более суровому наказанию.
6. Обязать наркома речного флота т. Шашкова и начальников речных пароходств обеспечить неуклонное выполнение Устава о дисциплине рабочих и служащих речного флота, и в частности применения в необходимых случаях права наложения административного ареста на нарушителей дисциплины сроком на 20 суток».

Уже в Красноярске Иван Михайлович давал устные и письменные показания. Конечно, начальник пароходства отвечает за всё, в том числе за отправление и доставку всех грузов, прибывших в порт, за случайные зимовки флота и др. Но в чём его вина, что он мог сделать в тех условиях, в которых произошла вынужденная зимовка? Отправление последних караванов за пределами сроков физической навигации — это дополнительный ресурс для получения танковой брони. И для достижения этой цели ничто не должно помешать, ни самые низкие горизонты воды, ни наступавшая зима или отсутствие отремонтированного флота. Но вот уязвимое место: почему выбрали место отстоя на устье речки Сухая Тунгуска? В других местах — в Курейке, в Полое, в Корабликах, на устье реки Ботовая — флот отстоялся благополучно. Не мог же он сослаться на главного диспетчера, опытного капитана со стажем В. В. Ильинского, который отдал распоряжение капитану теплохода «Клим Ворошилов» А. Н. Здорову остановиться в устье речки Сухая Тунгуска. В обоснование такого решения Василий Васильевич приводил отсутствие островов и отмелей в устье Сухой Тунгуски, приглубый берег, тихое течение. Но самое главное — наличие населённого пункта, где могли разместиться зимующие экипажи.

О случившемся также давал показания капитан теплохода «Клим Ворошилов» А. Н. Здоров:

«Весь флот был расставлен у правого коренного берега в двухстах метрах выше устья речки Сухая Тунгуска пыжами в две баржи. Выше каравана начали намораживать дамбу. На берегу вкопали мертвяки, чтобы надёжно учалить баржи после их заводки в речку с прибылью воды. Все баржи и теплоходы должны обойти сухими канавами. Однако во второй половине апреля началось сильное потепление. На караване появились вода и забереги. В тайге начал интенсивно таять снег. Побежали ручьи, начала вскрываться Сухая Тунгуска, давая первые подвижки льда. Это спровоцировало подвижку льда на Енисее,

которая привела к катастрофе. Но всего этого можно было избежать, если бы остановились на устье речки Фатьяниха, как предлагал я».

Эти показания сильно навредили Ивану Михайловичу. Расстояние между устьями рек Фатьяниха и Сухой Тунгуски — сто двадцать пять километров, что в условиях бездорожья — дополнительные миллионные затраты на доставку в Дудинку недошедших грузов. И потом, кто мог предусмотреть такие аномальные явления в природе? В сложившейся непростой обстановке выручил Ивана Михайловича В. В. Ильинский, который мужественно взял всю ответственность за постановку каравана на себя:

«Начальник пароходства не мог принять такого решения. Реку Енисей, особенно в нижнем её течении, не знает и знать не может. Условия отстоя в устье р. Сухая Тунгуска по обеспечению безопасности, а также ряду других причин несравненно лучше, нежели на устье р. Фатьяниха. Не случись форс-мажорных обстоятельств, которые предусмотреть невозможно, весь груз был бы доставлен по назначению, и флот отстоялся бы благополучно».

Только после этого нажима на Ивана Михайловича ослаб. Обстоятельства катастрофы хорошо знал нарком речного флота З. А. Шашков. Он обратился к В. М. Молотову — председателю Совнаркома, и тот распорядился закрыть уголовное дело на И. М. Назарова из-за отсутствия состава преступления. К этому времени его освободили от должности начальника Енисейского пароходства и назначили заместителем. Начальником пароходства был назначен М. С. Железняк — заместитель начальника Днепровского пароходства.

Война с фашистской Германией близилась к концу. Советский Союз в условиях повышенной секретности готовился к войне с Японией. Для массовой переброски войск с запада на восток было необходимо расширить узкие места на Транссибирской магистрали. Одно из таких узких мест — обход озера Байкал. Железнодорожных тоннелей к тому времени ещё не было.

В конце 1944 года начали строить на Байкале железнодорожную переправу. Начальником переправы по предложению наркома З. А. Шашкова назначили И. М. Назарова.

За короткое время переправа была готова и заработала как часы. Пропускная способность железной дороги заметно увеличилась. Пришлось дневать и ночевать Ивану Михайловичу на рабочем месте, предусматривать все мелочи самому, никому не передоверяя. Жизнь его уже многому научила. Особые сложности вносили туманы и шторма, однако срывов расписания не допустили.

Боевой орденом Красной Звезды, которым Иван Михайлович особо гордился, был ему вручён по достоинству.

Это понимали все. Когда необходимость в паромной переправе миновала, Ивана Михайловича назначили начальником Западно-Сибирского пароходства. Скучно ему было на полусонной Оби. Душа его

была на Енисее. Запали ему в сердце пороги и широкие плёсы седого Енисея. Устремлялись его мысли к набиравшему мощь норильскому гиганту, Игарке, где до сотни судов под разными флагами грузились пилоэкспортом до поздней осени.

Не забывал он многих енисейских капитанов, с которыми впервые открывал судоходный путь по таёжным речкам к золоту, отправлял первых строителей на Игарку и Пясинские караваны через Диксон и Карское море. С некоторыми из них переписывался. Не раз видел во сне своё возвращение на Енисей. Знал об этом и З. А. Шашков, с которым неоднократно делился своими мыслями Иван Михайлович. И вот свершилось. В 1947 году Иван Михайлович вместе с женой Ольгой Николаевной и дочерью Алисой вернулись в Красноярск. Он вновь назначен начальником Енисейского речного пароходства.

Безрадостную картину увидел Иван Михайлович, осматривая в первые дни после пятилетнего отсутствия свои предприятия, флот, встречаясь с людьми. Всё знакомое, но за время военного лихолетья заметно обветшавшее. Много судов из-за технического состояния выведено из эксплуатации. Изменились внешне и внутренне люди. Хотя введённое с мая 1943 года на речном флоте военное положение и способствовало сохранению кадров на флоте, специалистов катастрофически не хватало. Ведь ушло на фронт со всех подразделений 2260 человек, 388 из них погибли, примерно восемьдесят процентов получили увечья, ранения, мучились по госпиталям, некоторые попали за малейшую провинность под трибунал и направлялись на фронт в штрафные роты. Так было с капитаном парохода «Эвенкия» Б. Е. Ксензовым. За простой парохода, по донесению транспортного прокурора М. Ф. Каскевича, Б. Е. Ксензов был осуждён трибуналом в штрафную роту и вскоре там погиб. Такая же судьба постигла учащихся речного техникума за самовольные отлучки с работы, занятий, рассказанные анекдоты — Кучинского, Пономарёва, Владимирова, Овчинникова, Попова Судьба восемнадцати студентов-дизелистов неизвестна. Многие из них в шестидесятых годах реабилитированы.

Подвиги, которые отмечены высшей наградой Советского Союза, совершили речники: Леонид Николаевич Ефимов — капитан парохода «Стрела»; Николай Николаевич Макаренко — моторист катера; Юрий Николаевич Петелин — выпускник Красноярского речного техникума, работал на судостроительном заводе и одновременно учился в аэроклубе; Василий Семёнович Олейников — выпускник речного техникума, работал в Енисейском пароходстве, одновременно учился в аэроклубе, его именем назван грузовой теплоход; Виктор Аркадьевич Москвин — бакенщик; Александр Иванович Корольский — бригадир-плотник из Атаманова, отец трёх сыновей и дед внука, которые стали знаменитыми речниками Енисея. На каждом предприятии речников воздвигнуты памятники и поименованы все погибшие на фронтах Великой Отечественной войны.

Михаил Тарковский Ветераны Бахты

Очерк-интервью для газеты «Маяк Севера»

Этот очерк о людях, которых уже нет, написан очень много лет назад, сейчас даже и не вспомню, в каком году. Знаю только, что это была первая моя публикация в районной газете. Я его печатал и в журналах, но отрывками, касающимися только Ильи Афанасьевича Плотникова. А теперь даю полный изначальный вариант.

Михаил Тарковский

В нашем селе праздник Победы празднуют так: к двенадцати часам деревня собирается на угоре по-над Енисеем возле памятника павшим за Родину. Народ принаряжен, мужики с оружием. Здороваются за руку. Енисей в это время ещё стоит, в тайге полно снега, но сам угор уже вытаявший, с жухлой травкой. Дети, за несколько дней до праздника красившие ограду свежей голубой краской, идут колонной с барабанщиком во главе. В ограде вокруг крашеной серебрянкой стелки со звёздочкой темнеют пихты. Открывается калитка ограды, и около памятника выстраиваются: глава деревенской администрации, дети с учительницей литературы Еленой Ивановной и двое наших ветеранов. Остальные стоят рядом на угоре. Мужики с ружьями и карабинами наготове ждут в шеренге на самом краю угора. Когда отзвучало поздравление, они вскидывают стволы и дают залп — вверх и вдаль. Летит дым, пыжи, пахнет порохом. Енисей белеет в оттаявших каменистых берегах бескрайним полотном.

Всего двое ветеранов осталось в Бахте: Илья Афанасьевич Плотников и Анатолий Семёнович Хохлов. В школьном альбоме, посвящённом войне, о них написано:

«Плотников Илья Афанасьевич. 1924 года рождения. В ряды Красной армии призван в июне 1943 года. Был тяжело ранен и после излечения возвращён в строй. Имеет правительственные награды: орден Красной Звезды, 2 медали «За отвагу», медаль «За победу над Германией», медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне» и орден Отечественной войны I степени.

Хохлов Анатолий Семёнович. 1925 года рождения. Закончил 3 класса. В ряды Красной армии был призван в июне 1943 года. В феврале 1944 года получил тяжёлое ранение и был на излечении. 3 августа демобилизован. Награждён медалями «За победу над Германией»

и «20 лет победы в Великой Отечественной войне», орденом Отечественной войны I степени».

Иду к дяде Илье. Дядя Илья открывает — залатанные брюки в поло-сочку, красная в клетку байковая рубаша, застёгнутая на все пуговицы. — Дядя Илья, мне тут сказали заметку написать. В общем, мне надо тебя о войне расспросить.

— Ничего я не буду рассказывать. Тем более о себе. Раз один корреспондент тоже расспрашивал, а потом такого написал...

— Я «такого» не напишу, а что напишу — покажу.

— Ладно. В общем, родился я в двадцать четвёртом году, тридцать первого июля. Осталось нас трое с отцом. Как мать от нас ушла, не помню. Отец на неводе работал, возьмёт меня на невод, в лодку утащит, в нос положит. В школе мы учились — из школы прямо на рыбалку. В школе три года отучился. Пришли, уговорили на рыбалку. Тугуна тогда чистили на сдачу, до пятнадцатого августа, правда, а после нечищеного принимали. А потом в армию — в сорок третьем году, двадцать второго июня. Никто меня не провожал. Шесть рублей было у меня в кармане. Привезли в Красноярск. Сказали: «У кого есть какие вещи, можете продать или в фонд обороны сдать». Я что было продал — на семьсот рублей.

— Это на наши как?

— Булка хлеба семьдесят рублей стоила. Богатые деньги были. стакан орехов кедровых тридцать рублей стоил, двадцать пять — стакан семечек. Мы на распреде были — Дом колхозника, возле Качи. На заводе работали, погружали консервы, муку. Мы сами не таскали, мужики наши таскали, а мы им готовили. Нам дали бочку квадратную здоровенную сгущённого молока и крупу любую, какую хотите, — варите. Они работали, а мы кашу варили — своим ребятам, которые работали. Потом начали понтонный мост строить. Ниже железнодорожного моста.

— Дядя Илья, ты когда последний раз в Красноярске был?

— В сорок пятом году. По понтонному мосту только машины ходили, и разводили его, когда судно идёт. Потом на Абакан нас переключили. Там тоже переправу строили, но только не понтоны, а кóзлы — потом настил на них. Кóзлы — ну как дрова пилишь. Потом повезли опять на поезде — в телячем вагоне, в пульмане. Кто-то кричит: «Нас обратно везут!» Так и есть, в Красноярск везли. В сентябре в Омск привезли. Казармы там — склады для картошки, землянки, но — чисто, выбелено. Тут и обмундирование дали.

— И что делали в Омске?

— В Омске? В колхозе хлеб убирали. С фронта комбайнёра привезли. Тогда не самоходный комбайн был, он на месте стоял, а к нему подвозили. День и ночь работали. Пшеница, просо. Хлеб-то надо было убирать — в деревнях не было никого. Кормили хорошо. Потом в свою часть вернулись, прослышали, что на фронт отправляют, —

и попросились. Командир говорит: «Сынок, ты куда торопишься? На пушечное мясо?»

— Обучали перед отправкой?

— Обучали. Матчасть. Устройство снайперской винтовки. Оптический прицел... Обмундирование дали: шинель, котелок — всё новое. И на фронт. Кормили дорогой, честно сказать, ни на фиг не годится. Ехали на поезде, тоже телячьи вагоны. Привезли под Вязьму. В октябре. Оттуда повезли в Великие Луки. От Великих Лук пешком к передовой. Шли кто как, растянулись по дороге. Дней пять или шесть шли — по одному, по двое. Провожатый-то скрылся где-то. Я один остался, голодный. Иду — никого нет. Кормились как? Бураки, ну... свёкла такая, внутри красная, белая, слоями. У костра её пожаришь и ешь. Иду — устал, света не вижу; машина идёт. Проехали, остановился, назад сдали — офицеры какие-то: «Солдат, куда идёшь? Влезай!» Залез я... Кусок сала, хлеб...

Голос дяди Ильи дрогнул, лицо вдруг съёжилось, он отвернулся и махнул рукой.

Сидим, молчим с дядей Ильёй. Он продолжает:

— Догнал ребят. Железница — станция называлась. Стоят понемногу ребята, собираются по пять-шесть человек. Один позже меня пришёл, Скворцов. Ему офицер: «Ты дезертир. Стрелять тебя будем». Скворцов белый стоит. А там один мужик был, видно, что бывалый, «Слушай, — офицеру этому говорит, — если ты нам к вечеру не привезёшь продуктов, то мы тебя самого зажарим и съедим». К вечеру и жратва была, и всё, и хлеб, и концентраты... И Скворцов живой. — Как первый бой?

Дядя Илья замешкался, будто я спросил глупость, потом помолчал, подбирая слова, а потом как резанул:

— Первый бой был такой: все бегут, и я бегу. Потом залегли. У них пули разрывные были, и кажется — и впереди стреляют, и взади стреляют.

— Ну немцев-то видите?

— Как не видим? Видим. Вот они, который близко, который далеко. То, глядишь, каска мелькнёт.

— А вообще, какая... задача-то у вас была?

Дядя Илья посмотрел на меня как на дурака:

— Вперёд. В сорок третьем одна задача была — вперёд. Потом в оборону нас поставили: Большая Пуща, Малая Пуща. Мы там ещё простояли.

— А медаль? За что наградили?

Дядя Илья снова стесняется:

— Не знаю, за что наградили. За храбрость вроде. Короче, вот дорога, вот куветы. (Дорогу изображала ложка, «куветы» — две чашки.) Мины вот здесь легли и вот здесь (показывает на чашки). Я услышал, когда начали стрелять, ну и сюда летит, по шипу знаю, что где-то здесь лягут. Лёг посередке — деваться некуда, и вот одна с этой стороны дороги легла, другая с той. Дорога-то выше, ну и осколки — в бугор. Выходит, берёт Бог меня. Ещё психическая атака у немцев была. Все

пьяные, рука к руке идут (дядя Илья показал, как касаются немцы друг друга поднятыми локтями) — стреляют.

— Сколько до них?

— Сто пятьдесят метров. Мы стрелять начнём — лягут, потом снова идут.

— Ты попал в немца-то?

— Да ну! Всё врут! Попал, не попал — ты откуда знаешь, кто куда попал? Снайпер — дело другое.

— А ты вроде на снайпера учился.

— Не стал снайпером: обучаться надо было шесть месяцев, а я месяц проучился.

— А у тебя что за оружие было?

— Карабин кавалерийский... Как в атаку? Один встаёт: «За мной!» Ну и подымаются — по два, по три, потом все. В фильмах всё неправильно показывают: шквал огня, и все в атаку. При таком огне ты и встать-то не сможешь, не то что в штыковую.

— А потом что было?

— А что потом? Ранило. Наградили — и обратно в часть. Два раза ранен был. А воевали — Белоруссия, Литва, Латвия. Была там такая Курляндская группировка... Ранило? Шрапнель — сначала суда, потом сюда (дядя Илья показывает на ногу, на руку); если б ударила в голову, у меня две дырки бы получились.

Ещё спрашиваю про награды.

— Какие награды? Медали «За отвагу». Две было. Одну потерял. Вторую как получил? Тоже так, — дядя Илья отмахивается. — Там никто толком не знает, не моё это — начальства дело. Я же не за награду воюю — правильно? Короче, идём с передовой, у меня провода моток на спине. И слышу: командир зовёт. Я иду, не откликаюсь. Докричался. Обратно на передовую посылает — доложить там что-то. А я только что оттуда, да ещё провод этот. Он подзывает солдата: «Возьми провод у него». Отдал провод — и назад, на передовую, а неохота — страшное дело! Так не хотел идти. Сходил, доложил что нужно. Возвращаюсь уже чуть не наутро. Вижу: что-то копают тут... В общем, все, кто тогда шли со мной, и начальство, и солдаты — все полегли. Тридцать два раненых и одиннадцать убито. Снаряд. Опять Господь уберёт.

— А ещё что было?

— Зубами порванный провод соединил, а потом огонь корректировал...

Дядя Илья помолчал, сказал:

— В Белоруссии ни одного дома не было целого, трубы где торчат только. Шли по лесу колонной, вдруг остановка. Я шустрый был, вперёд пробрался: что такое? На сосне висит женщина молодая, в чём мать родила. Косы... до сих пор перед глазами стоят... льняные. А под ней банки от консервов — жрали! Пожрали и уехали: моторизованные, б...!

Помолчали.

— А медаль как потерял?

— Она у меня в кармане лежала, командир говорит: «Почему не носишь?» Я надел, носом-то рыл когда землю — и потерял.

— И сколько времени тебя дома не было?

— Два года и шесть месяцев, — посчитал дядя Илья.

— А победу где встретил?

— В госпитале в Ленинграде. Помню, баба идёт, толстенная, в дверь только боком проходит. Под каблуками паркет прогибается. А она пробовала еду нашу, годится или нет. Наши ржут: «Опробовалась!» Это к слову. . . А победу — в госпитале. А вообще земля слухом пользуется, ещё победы нет, а слух уже был, что с Америкой вражда идёт. А с победой так было: ночью проснулся — гул идёт. «Что такое?» — спрашиваю спросонья. А мне: «Кричи „ура“ — победа!» А назавтра Сталин говорил. Немного сказал — поздравил всех. И всем выдали — по чекушке вина, бутылку минеральной воды, бутылку пива. Я пива отпил. А больше не хотел почему-то. А днём народ пошёл к больнице, а там загородка — как пики. И вдоль загородки побежали все. . . К нам. . . Поздравляют. . . Что было! Пла. . . плачут все. . . — говорит дядя Илья срывающимся голосом, вскакивает, уходит, гремит умывальником, вытирает лицо.

Возвращается. Отрывисто бросает:

— Извини.

Молчим.

— А что потом? Потом домой. Посчитали, комиссовали, выдали деньги, посадили опять в телячий вагон — и поехали, только не через Москву, а северной дорогой, через Пермь мы выехали. Приехали в ноябре, двадцать восьмого числа домой попал. На самолёте. Не ждали особо — телеграммы не давал. Что жив, знали. Писал. До Сумарокова на самолёте долетели, до Мирного на конях. А от Мирного пешком. Все кони в Арвамке, даже водовозные, сено возят. Пешком пошли. И только я в избу зашёл — мне фуфайку не дали снять, все бегут, все целуются. Я утром поднялся, веришь — нет: весь в пузырях!

Прощаюсь с дядей Ильёй, иду к дяде Толе. Сияет солнце, снег как железный. Дядя Толя в сараюшке, там рассада, и он ставит электрообогреватель, потому что на улице снова мороз.

— Дядя Толя, расскажете, как воевали?

— Да я мало и был-то совсем. . . Да и вообще рассказывать не любитель.

— Да уж сколько был. О себе расскажите.

— Родился я здесь, в Бахте, двадцать пятого апреля тысяча девятьсот двадцать пятого года. Три класса закончил с горем пополам, и то убежал. В Мирном мы учились тогда. . . А в сороковом году на охоту пошёл. Работал сразу в колхозе. В сорок третьем году призван в армию, в июне месяце, не помню точно — в двадцатых числах. Сначала — в Красноярск, потом на пересыльный пункт в Канск. В Канске в бане

помыли. Мы там как на карантине были — до ноября. Сено косили, бондарили, бочки ремонтировали. На рыбалку меня посылали дней на пятнадцать-двадцать. Бреднем рыбачили на Кане. На охоту ходил за косачами для воинской части.

— Так не для колхоза работали?

— Покос и для части, и для колхоза, а остальное — бочки, и рыбалка, и охота — всё для части. В общем, на охоте я пробыл до двадцать второго ноября.

— А потом?

— Потом сразу в маршевую роту на передовую.

— А ехали — в телящем вагоне? — уже со знанием дела спросил я.

— В нём и ехали. Двойные нары. Буржуйка на вагон. Сухой паёк. Кипяток на остановках. Дрова там же. И на Первый Белорусский фронт.

Дядя Толя на редкость немногословен, каждое слово приходится вытягивать.

— И сколько времени ехали всего?

— Да недели две ехали. А до передовой на своих ногах трое суток. По шоссейной дороге. Строем. Разбитая деревушка — дошли до неё. Сутки пробыли, а потом уже на самую передовую.

— А ранило как?

— В атаки мелкие ночные ходили. И ранило в руку. Под Витебском наступление было. Артподготовка сначала, а потом пошли — и ранило. Весь полк разбило — пятнадцать человек осталось.

— А как назывались-то вы?

— Двести семьдесят четвёртая стрелковая дивизия.

— Дядя Толь, ну а передовая-то что из себя представляла?

— Что представляла... Траншеи нарыты, и в них люди сидят.

— Самим приходилось копать?

— Да нет, там война-то уж прошла. Всё накопано, так только — для себя чего подправишь.

Дядя Толя снова возвращается к наступлению под Витебском, где его ранило:

— В общем, артподготовка часа два шла. Наши начали, немцы тоже стреляют, тоже артподготовка. Потом в наступление, сначала солдаты, потом техника.

— А до немцев сколько?

— Метров триста, а то и меньше. Видишь их хорошо. В общем, с восьми утра начали, а закончили бой в темноте только.

— А какое оружие было?

— У меня? Винтовка мосинская. Немцы отступают, за ними идёшь, где-то ляжешь, ждёшь. Лупят из всего. Авиация задействована. А ранило в темноте уже. В руку осколком. Снаряд взорвался, — дядя Толя закругляет разговор. — Короче, где должны были выбить, там выбили, а до Витебска тогда не дошли. А ранило в правую руку, в предплечье. Что почувствовал? Как стукнуло, боль уже потом была. Рука

болтается. Сначала подумал: оторвало. Взял вот так руку (дядя Толя показал — взял предплечье левой рукой) и пошёл. Так и шёл, как оступишься — сам понимаешь.

— А куда шёл-то?

— Назад, к своим.

— В землянку?

— В землянку. Там собрали сколько раненых — в повозку и в полевой госпиталь. Палатка такая большая. Там дня два-три. Потом в Смоленск в госпиталь. Там операция и гипс. В Смоленске неделю пробыл, потом в Калугу перевели. Оттуда в Иркутск — в оздоровительный госпиталь. Из Иркутска сюда. Пароходы-то ходили.

Попрощался с дядей Толей, который сказал напоследок:

— Забылось многое, если б сразу — может, и больше рассказал...

Пришёл домой. Задумался. Два рассказчика: один эмоциональный, живой, другой сдержанный, строгий. Но что-то общее было в обоих — то, что оба из скромности стремились свести свой вклад до минимума, до роли песчинок, которых то бросало на врага могучей волной, то откатывало назад, но без которых не было бы Победы.

Бахтинцы, погибшие в
Великой Отечественной войне:

Хохлов Иван Павлович
Хохлов Иван Игнатъевич
Хохлов Павел Игнатъевич
Синяев Иван Никифорович
Попов Пётр Фёдорович
Плотников Матвей Васильевич
Хохлов Марк Павлович
Лямич Тимофей Яковлевич
Эмидак Андрей Никифорович
Эмидак Михаил Альбудьевич
Эмидак Данил Альбудьевич
Хохлов Павел Елизарович
Хохлов Михаил Павлович
Степанов Михаил Максимович
Хохлов Степан Макарович

Вернувшиеся с войны
бахтинцы-ветераны,
которых уже нет в живых:

Хохлов Георгий Гаврилович
Хохлов Фёдор Павлович
Хохлов Евдоким Дмитриевич
Хохлов Андрей Павлович
Степанов Павел Васильевич
Попов Леонид Андреевич
Ярков Иван Андреевич
Лямич Пётр Алексеевич
Мальцев Михаил Григорьевич

Хочется обязательно сказать об одном человеке, который в боевых действиях не принимал участия, хоть и был призван в армию в 1944 году. Он никогда и не причислял себя к ветеранам, но, видно, был таким человеком, что люди причисляли его к ним невольно — за его мужество, за трудолюбие, готовность прийти на помощь. Этот человек — *Адам Валерьянович Шейнов*.

С праздником вас, дорогие ветераны! Вечная вам память, герои!

Владимир Замышляев

Культура в тылу и на фронте

Великая Отечественная война 1941–1945 годов — событие исторического масштаба, тяжёлое по физическому и моральному испытанию, трагическое и героическое, к счастью, завершившееся Великой Победой над германским милитаризмом и фашизмом. На Победу в этой длительной войне самоотверженно трудились миллионы людей в Красноярском крае. Сибиряки-красноярцы приняли на себя трудовую ношу и в связи с эвакуацией предприятий с запада на восток.

Ярким примером того, как прибывали в Красноярск эвакуированные предприятия и начинали сразу работу, является завод Сибирского тяжёлого машиностроения («Сибтяжмаш»). Красноярский поэт Игнатий Рождественский, учивший в Игарке будущего писателя В. П. Астафьева, писал: «Станки стояли прямо на снегу, к морозной стали руки примерзали. И задыхалась вьюга на бегу, и в белых вихрях затерялись дали. Ещё не возводили корпуса, и котлованы только намечали, но мы творили — нет, не чудеса, мы просто фронту честно помогали».

Честно помогали фронту и деятели красноярской культуры: учителя, работники клубов и библиотек, музеев и театров, художники и писатели. Многие работники культуры уходили на фронт или вынуждены были менять место работы. Наметилось сокращение сети культурно-просветительных учреждений. Но правительство страны потребовало не сокращать, а расширять их деятельность.

На начало 1941 года в крае имелось 1200 изб-читален, 975 библиотек-передвижек (478 из них в сельской местности), 1762 красных чума, яранги, клубы и Дома культуры всех ведомств, 6 театров (драматический и кукольный в Красноярске, драматические в Минусинске, Абакане, Канске и Ачинске), 14 музеев. Действовало в крае 187 кинопередвижек, в том числе звуковые автопередвижки. Немое кино уступало место звуковому, игровому и документальному, «важнейшему из искусств», по выражению В. И. Ленина.

В 1942 году в крае проведено разных мероприятий (лекций, докладов, концертов, спектаклей) в два раза больше, чем в 1941-м. Даже продолжались смотры художественной самодеятельности.

Сочинялись и исполнялись злободневные частушки — «прямой наводкой по врагу». Сатира на фашистов была популярным жанром и на сцене, и в печати, и в плакатах, и в «Окнах...». Этот заказ отлично выполняли красноярские художники. Они проводили стационарные и передвижные выставки живописных и графических работ,

сатирических плакатов, оформляли наглядной агитацией тыловые и фронтовые агитпоезда, выезжавшие с подарками для бойцов Красной армии. Из Красноярска такие агитпоезда выезжали семь раз на Калининский, Центральный и Карело-Финский фронты.

С одним из таких агитпоездов побывал на фронте поэт Лев Черноморцев. Он вернулся с фронта в полушубке, подаренном ему красноармейцами, гордился подарком и всем показывал на встречах в Красноярске. Об этом вспоминала журналист и редактор З. И. Семигук, работавшая во время войны в Красноярском книжном издательстве. После войны она перешла в газету «Красноярский рабочий», долго заведовала отделом культуры. По её словам, издательство организовало выпуск брошюр «Красноярцы — герои Отечественной войны». Первой была брошюра о Герое Советского Союза, бесстрашном лётчике, комсомольце из Ирбея Николае Тотмине. Герою Советского Союза Иннокентию Увачану посвятил цикл стихов Казимир Лисовский. Издание этих брошюр горячо поддерживали в Красноярском крайкоме ВКП (б).

22 мая 1942 года в газете «Красноярский рабочий» сообщалось: «Бригада красноярских театров драмы, оперы и балета за последнее время обслужила шефскими концертами около десяти тысяч колхозных зрителей, 32 колхоза и 12 подсобных хозяйств. Артисты проехали на лошадях и машинах около 4 тысяч километров и всюду встречали радушный приём». В информации упоминаются «опера и балет». Откуда они взялись? В Красноярск осенью 1941 года эвакуировался Днепропетровский оперный театр. 11 октября состоялась его первая премьера — «Запорожец за Дунаем» Гулак-Артемовского. В начале 1942 года к днепропетровским артистам присоединились артисты Одесского театра оперы и балета. 23 марта состоялась совместная премьера — опера Дж. Пуччини «Флория Тоска», а 13 августа — премьера оперы Т. Хренникова «В бурю». Это первая советская опера на красноярской сцене.

В октябре-ноябре 1942 года артисты объединённого театра показали бойцам фронтов 77 концертов. Театр работал на площадке драмтеатра им. А. С. Пушкина. Эвакуированный объединённый театр действовал в Красноярске до лета 1944 года. До 1949-го работал отдельный музыкальный театр. Его продолжением стало открытие в 1959-м театра музыкальной комедии, который сегодня называется музыкальным театром.

В концертах музыкальных артистов звучала и песня «Татьяна» — о гибели Зои Космодемьянской. В 1942 году сказительница из села Емельяново Е. И. Чичаева создала «Не забыть нам веки-повеки: плач по Тане — Зое Космодемьянской». Это сочинение в 16 страниц тиражом в 2000 экземпляров выпустило Красноярское книжное издательство.

Красноярский краевой драматический театр имени А. С. Пушкина ставил спектакли, привлекавшие большое количество зрителей. Успешной была деятельность и Минусинского драматического театра. Город Минусинск прославился ещё и краеведческим музеем имени Мартянова, который активно проводил стационарные

и передвижные выставки, посвящённые героическим страницам Великой Отечественной войны. Не затухала в годы военные и художественная самодеятельность. Об этом, в частности, вспоминал А. С. Курешов в книге «Жизнь прожить — не поле перейти». Он рассказывает о спектаклях драмкружка на Козульской дистанции пути Красноярской железной дороги. В драмкружке ставились спектакли по пьесам А. Чехова, А. Островского и «Фронт» А. Корнейчука. Помощь реквизитом оказывал железнодорожникам Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина. Жители Козульки очень любили свой драмкружок и ходили на его спектакли семьями.

Подчеркнём особую роль Красноярской железной дороги в обеспечении «культурного фронта» в годы войны. Это ведомство имело, в сравнении с другими, значительную сеть культурно-просветительных учреждений, отличавшихся хорошим качеством работы и народными талантами. В Красноярске работал клуб имени Карла Либкнехта (знаменитый «карлуша»).

1 февраля 1939 года было принято решение о строительстве Дома культуры на станции Боготол. Его открыли в начале 1941 года, но разместили в нём военный госпиталь — до 1943 года. После возвращения Дома культуры его профессиональным владельцам началась активная творческая деятельность, появился духовный оркестр, драматический и другие коллективы. Активную работу проводил и клуб на станции Иланская. Требовались людям во время войны и книги. К 1944 году на железной дороге, помимо стационарных библиотек, насчитывалось 35 библиотечных пунктов книговыдачи. Книгами пользовались 4700 человек. В библиотечном деле КЖД были свои ветераны: В. Ф. Свицерский, награждённый медалями, блокадница Ленинграда Н. Н. Остроухова, Т. А. Куренных, З. А. Дудик, И. Ю. Пискунович, А. П. Кузьмина, А. И. Мунько и другие.

В истории художественной самодеятельности периода войны есть и такие факты: «Лагерь в ста километрах от Тайшета. Одно из самых поразительных впечатлений, связанных с музыкой: вечера в так называемом клубе — концерт самодеятельности заключённых. Вхожу в переполненное помещение, где на сцене происходит нечто невероятное: молоденькие девушки в расшитых украинских блузках и тёмных юбках поют хором, чистейшими звонкими голосами и очень увлечённо: „Точно небо, высока ты, точно море, широка ты, необъятная дорога молодёжная!!!“ В первый момент шок, явственное ощущение, что помешалась. Позднее в самодеятельности участвовала сама: пришло понимание, что для нас, зеков, это благотворно — и для артистов, и для зрителей», — так вспоминала Н. Кравец в статье «Шесть лет „режима“».

Ученик знаменитого Нейгауза пианист А. Е. Шварцбург тоже участвовал в концертах лагерных культбригад. После освобождения от ссылки в Енисейске он стал художественным руководителем Красноярской краевой филармонии.

О художественной самодеятельности в годы войны вспоминал и писатель-фронтовик А. И. Чмыхало: «Сорок четвёртый год. Ещё грохочет война. Ещё торопятся на запад воинские эшелоны, а навстречу им — санитарные поезда с ранеными. А в Красноярском театре Пушкина идёт смотр художественной самодеятельности. Не думаю, что открытие нашего оперного театра собирало столько культурных сил города, сколько тот смотр. Журналисты, музыканты, молодые литераторы — все были там».

В 1944 году вышел первый номер литературного альманаха «Енисей». Его предтечами считаются «Сборник произведений начинающих писателей Красноярского края» (Красноярск, 1938), «Красноярский альманах» (1940), «Красноярский альманах» (1941).

Духоподъёмный призыв «Всё для фронта!» воодушевлял творчество молодых писателей, художников, журналистов, деятелей кино. Такие патриоты Родины и земли красноярской, как поэты Георгий Суворов (уроженец Краснотуранска) и Борис Богатков (уроженец Ачинска), погибли на фронтах войны, сказав перед сраженьями: «Свой добрый век мы прожили как люди и для людей».

Участниками войны были писатели В. П. Астафьев, А. И. Чмыхало, А. Жданович, М. Кильчичаков, И. В. Уразов, П. Коваленко, художник Б. Я. Рязов, композитор Ф. П. Веселков, хормейстер Н. А. Тычинский.

Можно указать и на роль периодической печати, на заслуги газет «Красноярский рабочий», «Красноярский комсомолец», на значение радиопередач и всей журналистики.

Красноярский край велик, в каждом его городе и районе на всём протяжении Енисея шла напряжённая работа под девизом «Всё для фронта, всё для Победы!». Мы приводим наиболее яркие факты из этой истории. Вот ещё один пример. В 1943 году в красном чуме на Диксоне открыл первую выставку репродукций с полотен мировых мастеров живописи начинавший в то время свою коллекционную деятельность И. В. Рехлов, будущий создатель Шушенской народной картинной галереи. Она стала известной не только в крае, стране, но и в мире.

Мы сделали краткий обзор важных культурных событий на территории Красноярского края. В преддверии 70-летия Великой Победы мы решили напомнить, что культура тоже «воевала», крепила себя в тылу и выезжала на фронты.

Без культуры нет страны и нет народа. В годы бедствий, тяжёлых испытаний в первую очередь требуется Дух сопротивления перед врагом, воодушевление Словом и Музыкой, Стихом и Песней. Не случайно песня «Вставай, страна огромная» стала гимном-призывом с первых дней войны и воодушевляла весь народ на трудовые и боевые подвиги. Эта песня и современная — «День Победы» — смыкают трагическое начало и победоносное завершение в Великой Отечественной войне. Культура всегда в гражданском строю! И деятелям культуры — вечная благодарность.

Фёдор Жамалов

ученик 7 класса, Туруханский район

Мой дед воевал за меня

Моего дедушку звали Хохлов Фёдор Павлович. От начала и до конца мой дедушка воевал на ответственных участках передовой, как и положено сибиряку. В таких переделках воевал, откуда редко возвращаются живыми. В первые дни боёв в Карелии в сорок первом году получил благодарность командования. Под непрерывным обстрелом немцев доставлял срочные донесения в штаб. Однажды пришёл без приклада автомата и без одного пальца на руке — вдребезги разбило в руках оружие. Вскоре дедушка стал полковым разведчиком, охотником за «языками».

Полз с одним стремлением — перехитрить врага. Полз кромешной ночью под ураганным огнём, по два-три дня лежал в болотах Карелии, увязал в топях Ладоги, голодный и раненый, но не выпускал из рук оружие.

Однажды старшим группы мой дедушка был направлен за «языком». С вечера залегли у обрыва перед болотом. Невдалеке работали немецкие сапёры. После полуночи, едва затихли их голоса, с налёту прорвались вперёд и с боем захватили двух человек. Поднялась страшная стрельба, неописуемый переполох, враг почувствовал потерю и не хотел отпускать своих людей на нашу сторону. Многих ребят недосчитались в тот раз. Только попали на нейтральную полосу, как дедушка был ранен в живот. Не было другого выхода, как отправить разведчиков с «языком» домой, а самому остаться. С рассветом на дедушку наткнулась девушка-санитар. Начала делать перевязку. В какой-то момент её тело безжизненно опустилось, голова поникла. Освободившись, кое-как дедушка затянул бинтом себе рану; девушка была мертва. Ползти почти не было сил. Знал, что вот-вот придут ребята. И вдруг дедушка почувствовал что-то неладное. В пятнадцати шагах стоял здоровенный рыжий немец с наведённым на моего дедушку автоматом. Превозмогая боль, дедушка отпрянул в сторону и выстрелил. Немец рухнул на землю. Чуть успокоившись, подумал, почему же он не выстрелил, у него была полная возможность убить дедушку. Подполз к фрицу, проверил его автомат, и оказалось, что у него заело затвор.

Так с боями шёл мой дедушка до конца войны. Четыре года шёл, чтобы приблизить долгожданный час победы. Его боевой путь отмечен двумя орденами Славы и медалью «За отвагу», а также другими правительственными наградами. К сожалению, дедушка не дожил до моего рождения — не дали фронтовые раны, но я с гордостью ношу его имя — Фёдор. Я хочу быть таким же, как мой дедушка: храбрым, выносливым и ловким, каким был мой дед — Хохлов Фёдор Павлович, русский солдат!

Виктория Мальцева

ученица 6 класса, Туруханский район

Бабушка вспоминает...

Бабушки нет с нами уже более трёх лет, но её рассказы и воспоминания живут в моей памяти.

Скоро День Победы, и я хочу, чтобы как можно больше людей узнали, какой вклад внесла моя бабушка в его приближение.

Мальцева Таисия Николаевна родилась в маленькой таёжной деревеньке на высоком берегу Енисея, которая называется Бахта.

В семье были одни женщины: мать и бабушкины сёстры. Как старшая из сестёр, бабушка заботилась о младших и была для них примером во всём. Когда началась война, ей исполнилось восемнадцать лет, и вместо танцев и песен пришлось много и тяжело трудиться.

«Всё для фронта! Всё для Победы!» — с этим призывом вся наша огромная страна, в том числе и бахтинцы, женщины, дети, старики, — работала с раннего утра до позднего вечера, без выходных и праздников.

Бабушка вместе с другими девушками и даже девочками, которым было по двенадцать-тринадцать лет, рыбачила, косила сено, а по ночам вязала для солдат тёплые носки и варежки.

«Особенно тяжело было рыбачить осенью и зимой. Тёплой одежды и обуви не было. Ноги обматывали тряпками, сверху надевали носки — и готово. Иди рыбачить. Хлеба давали одну булку на пять дней, а мы её съедали за один раз: молодые, есть хочется всегда. Моторов и в помине тогда не было, приходилось грести на вёслах. План выполнять-то надо, кормить фронт», — вспоминала бабушка Тася, тяжело вздыхая и удерживая дрожь в голосе.

На столе стоит фотография моей любимой бабушки.

Я смотрю на её доброе лицо, морщинистые руки с красными прожилками и жалею о том, что при её жизни не успела сказать ей слов благодарности за её труд, терпение и мудрость.

Прости меня, бабушка Тася!

Виталий Пырх
 «Взвейтесь, соколы, орлами...»

Насколько я помню, в нашей семье всегда любили петь.

Отец и мать, брат и сестра, родственники и соседи... Частенько тогда, в дотелевизорную эпоху, они собирались по вечерам друг у друга семьями — чтобы отвести душу после тяжёлого рабочего дня.

Впрочем, на Украине поют все, и поют не только в застолье.

И всё-таки так, как пели у нас, поют не во многих семьях. А всё дело в том, что у моей матери было шесть сестёр — ну не везло деду по материнской линии на мальчиков! И когда они собирались вместе и, чуть-чуть пригубив вина «для голоса» (в те времена на Украине женщины практически ещё не выпивали, да и за пристрастие к «зелёному змию» прекрасному полу не поздоровилось бы), затягивали песню, то я тотчас же забивался в какой-нибудь угол и, как мышка, затаив дыхание, слушал.

И что это были за песни!

Обычно в компаниях поют на два-три голоса, а тут у всех семерых, включая мою мать, была своя партия. Низкий грудной голос тёти Тани прекрасно сочетался с таким же, почти мужским, баритоном тёти Гали, а редкому сопрано тёти Клавы, я думаю, позавидовала бы не одна прима Большого театра. И так как мои тётки от природы обладали ещё и абсолютным слухом, то у меня, пятилетнего пацана, от этого пения комок стоял в горле. И я прятал свои увлажнившиеся глаза от матери...

Ах, что это были за песни!

Ніч яка місячна, ясна, зоряна!
 Видно, хоч голки збирай.
 Вийди, кохана, працю зморена,
 Хоч на хвилиночку в гай.

Нет, так больше не поют — ни у нас на Украине, да и нигде в мире!

А потом мои тётки начали одна за другой покидать этот бранный мир, да и в семьях к тому же уже появились телевизоры. И вскоре песенные посиделки сошли на нет.

Но я уже заглотил этот крючок и, приезжая в отпуск с Крайнего Севера, где тогда работал, первым делом снабжал своего отца деньгами, и он ранним утром отправлялся один на Большой базар в Запорожье, чтобы вернуться оттуда с парой-тройкой живых кур (это для борща: настоящий украинский борщ ни одна хозяйка без свежей курицы не

варит, да и курица эта должна быть не из магазина, а только деревенской). Да ещё с полной авоськой, килограммов на семь-восемь, днепровских судаков, лишь несколько часов назад ещё плававших в реке, и как только их выпускали в воду, они тут же просыпались и начинали бить по ней своими огромными хвостами.

— Хлопци, прыбайте их молотком, я не буду живых ризать, — просила нас мать, но я этим, к счастью, уже не занимался, так как все мы спешили на днепровский пляж, и мои родители оставались на хозяйстве одни.

Но, вернувшись обратно вечером, ещё на подходе к дому мы жадно втягивали носом и дразнящий запах борща, сваренного, помимо кур, на свиных рёбрышках, и тонкий аромат чеснока от приготовленной на кефире галушки, которая вместе с куриным мясом уже томилась в ожидании нашего прихода в огромной эмалированной миске, щедро сдобренная пахучим украинским сливочным маслом.

И завершал потом всё это пиршество огромный, килограммов на десять-двенадцать, арбуз, только что вытасченный из погреба, наестся которого вдоволь было просто невозможно. Таких арбузов нельзя купить сейчас на красноярских рынках, так как настоящие бахчевые в бывшем Советском Союзе произрастали только в Астраханской области да ещё в некоторых районах Запорожской и Херсонской областей, где также имеются песчаные почвы.

К слову, и настоящих томатов мы не едим: их выращивают только на юге Украины да ещё, может, в Крыму и на Кубани. Но я, кажется, отвлекся.

Итак, как только наше обеденное пиршество заканчивалось, а посуда была перемыта, мы с матерью садились друг против друга под виноградной лозой (виноград в нашем дворе был повсюду и спускался чуть ли не на голову огромными кистями, но его никто не любил: пахнет блохами... хотя никаких блох, да и вообще насекомых в нашем доме никогда не водилось, и первого, скажем, в своей жизни таракана я увидел только на Урале, когда стал студентом) и ждали, когда жаркое летнее солнце уйдёт за обрий.

И когда наступали короткие сумерки, а за ними и чёрная, как сажа, ночь, я, отхлебнув «для голоса» небольшой глоток водки, вопросительно смотрел на мать, и она понимающе утвердительно кивала головой. — Начнём?

И затем потихоньку, сначала вполголоса, я заводил какую-нибудь песню. Как правило, мы начинали с чего-то народного, не важно на каком языке — русском, украинском, хотя встречались в нашем репертуаре и вполне современные песенные шлягеры, часто исполняемые на эстраде. Неизменным было только одно: начиная песню, я всегда подражал Козловскому. А кому мне ещё было подражать? И старался петь как можно выше и тоньше.

А вот моя мать включалась в процесс только тогда, когда я уже пропевал две или три строчки, и делала это всегда красивым и низким

голосом. И песня получалась такой сочной и ароматной, что во всей округе переставали лаять собаки.

Конечно, это были далеко не те песни на семь голосов, как у моих тёток, о которых я упомянул, но всё же...

Кстати, забегая вперёд, расскажу и ещё об одном эпизоде, связанном с Украиной. В последний раз я побывал на своей родине лет пять назад, и, видимо, прослышав о моём приезде, меня пригласили погостить на загородную дачу бывшие приятели, с которыми я пересекался, когда жил в Запорожье. Она — выпускница факультета журналистики Киевского университета, до сих пор работающая в областной газете, а он, её муж, тоже начинал было учиться там, да бросил. И завершал свою жизненную карьеру простым слесарем на одном из запорожских заводов.

Их дача была в нескольких десятках километров от города, на самом берегу Днепра, и, искупавшись в реке и отведав свежеприготовленных шашлыков, мы уселись с Валеркой вдвоём под раскидистым персиком, потихоньку допивая водочку. В то время как по соседству, через забор, кто-то шумно праздновал какое-то событие.

— А не спеть ли нам что-нибудь украинское? — вдруг предложил я, несколько раздражённый соседским шумом.

— А что, давай! — согласился приятель. — Начинай!

И я начал... И начал с той самой песни «Стоить гора высокая», которой мы обычно с матерью заканчивали все свои спевки, потому что к этому моменту мы уже распевались, никого не стеснялись, и наши голоса звучали, как бы уже не завися от нас самих. Я пел и не слышал своего голоса, а только слышал, как поёт моя мать. И что-то похожее на мороз пробегало по коже...

Какая же всё-таки великая сила кроется в наших народных песнях! По моему глубочайшему убеждению, они не только душа народа, как это считают многие, но и его оберег. А в трудные времена — ещё и народные заступники, его оружие.

Но обо всём этом чуть позже, а пока что я доскажу, чем закончился тот вечер, когда мы с моим запорожским приятелем решили спеть украинскую песню. К моей неопишуемой радости, он знал слова, что не так уж часто встречается в нашей повседневной жизни, и мы начали без всякой подготовки, в полный голос, никого не стесняясь и никого не боясь:

Стоїть гора високая,
А під горою гай, гай,
Зелений гай, густесенький,
Неначе справді рай.

Під гаєм в'ється річенька,
Мов скло вона блистить.
Долиною зеленою
Кудись вона біжить.

Мы с ним пропели только два первых куплета и услышали, что за забором, сбоку, вдруг стало тихо. Магнитофон выключили, пьяный гвалт прекратился. А чёрная украинская ночь, как бы в благодарность за возвращённый покой, снова понесла наши слегка пришпоренные водкой голоса куда-то далеко за Днепр, в не видимые отсюда дали:

Під берегом у затінку
Прив'язані човни.
Три верби там схилилися,
Мов журяться вони.

Як хороше, як весело
На білім світі жить!
Чого ж у мене серденько
І мліє, і болить?

Болить воно та журиться,
Що вернеться весна,
А молодість не вернеться,
Не вернеться вона!

Закончив «Гору», мы сразу же, без передыха, приступили к исполнению ещё одного украинского шедевра «Цвите терен...», и как только дошли до последней его строчки, из-за соседского забора послышались жалобные голоса:

— А можно к вам?

И мы увидели десятки голов, чернеющих в ночи...

Да, великая это сила — народная песня! Словом, остаток ночи мы уже провели все вместе, одну за другой исполняя по очереди русские и украинские песни. И это, я вам скажу, была дивная ночь, каких немного выпадает в жизни.

А вот затеял я весь этот разговор для того, чтобы ещё раз показать, как тонко и изощрённо работает в нашей стране пятая колонна — про Украину я молчу.

Сижу недавно на кухне в святой для себя день, двадцать третьего февраля. Бутылка водки на столе, плавленый сырок, кусок колбасы... А за спиною, на плите, «доходит» украинский борщ. Не материнский, конечно, но всё-таки борщ... И вполглаза слежу за телевизором, за каналом «Культура» (других каналов на российском телевидении, кроме «Новостей», я не смотрю).

И вот знакомый журналист тихо и вкрадчиво начинает вести в этот праздничный день своё расследование на тему: а был ли действительно под Москвой подвиг двадцати восьми героев-панфиловцев, ценою собственной жизни, как это утверждается, остановивших врага в ноябре 1941 года на подступах к столице, и защитивших её от фашистов, и давших, таким образом, всем нам возможность жить и учиться?

Вот уж никак мы не можем успокоиться: всё нам вчера было не так, всё — не по-нашему...

Вот и на этот раз: оказывается, по логике тележурналиста, никакого подвига двадцати восьми героев-панфиловцев на самом-то деле не было, а всё это результат советского агитпропа. Всю эту историю придумал какой-то военный корреспондент по фамилии Кривицкий, которому кто-то что-то там рассказал. И так далее, и тому подобное.

И мне сразу же стало не до выпивки. Я тут же вспомнил свою армейскую службу в начале шестидесятых годов прошлого уже века в городе Нойруппине, в бывшей ГДР, в полусотне километров к северу от Берлина. Служил я тогда в учебном полку, в самом центре города, и мы частенько, по дороге на полигон и на летнее стрельбище, проходили строем по нойруппинским улицам, пугая своими песнями прохожих и зевак.

Не скажу, что все в Восточной Германии смотрели на нас тогда с обожанием: были и такие, кто не скрывал ненависти — и к нам, и к нашим песням. И мы это прекрасно понимали: жестокая и самая кровопролитная в истории человечества война закончилась всего полтора десятилетия назад, и половина того же Берлина, во всяком случае, его восточной части, по-прежнему ещё представляла собой жалкое зрелище. Нет, развалины домов и кучи битого кирпича аккуратные немцы уже убрали, но на их месте по-прежнему зияли пустыри, и многолюдные когда-то улицы больше напоминали степные лужайки, а не городские магистрали.

Так вот, как только мы ступали своими коваными сапогами на очень качественную нойруппинскую брусчатку, так наш командир роты — капитан Худяшов (кстати, чемпион Сибири и Дальнего Востока по боксу, если он не врал, конечно...) — тут же давал команду: — Запевай!

И я, будучи ротным запевайкой, тут же заводил во всю мощь своих лёгких песню:

Шумела в поле злая осень,
Летела поздняя листва.
Их было ровно двадцать восемь,
А позади была Москва.

На них чудовища стальные
Ползли, сметая всё вокруг.
«Так защитим страну родную!» —
Сказал гвардейцам политрук.

И все решили за Клочковым:
«Умрём, но танкам не пройти!»
И вот уже костром багровым
Пылают танки на пути.

Конечно, немцы не понимали, что́ мы поём. Или же делали вид, что не понимают. А мы пели так, что сердца выскакивали из груди: ведь пели-то мы не для них, а для себя! И в память о своих национальных героях, об их подвиге, и чтобы подчеркнуть, пусть только одним голосом пока, свою причастность к великой истории страны.

И в этот момент, во время исполнения песни ста десятью глотками одновременно (а таковой была численность нашей учебной роты), даже несмотря на то, что мы шли по городу экипированными по последнему слову тогдашней техники, что у каждого на поясе болтался боезапас — отдельно гранаты, отдельно запалы к ним — и что снаряжённые боевыми патронами запасные рожки к автомату хищно выглядывали из наших подсумков, каждый шагавший тогда по нойруппинской брусчатке понимал: да дай сейчас наш ротный команду — и мы любую бригаду бундесвера тут же порвём голыми руками! Никакого оружия не надо...

Такой была сила походной песни, такие эмоции рождает в наших сердцах тот далёкий подвиг героев-панфиловцев...

И вот, оказывается, что его-то на самом деле и не было, что всё это придумали проклятые коммунисты. Ну шли немцы к Москве в сорок первом, ну остановились. Видимо, просто подустали...

И всё это — на канале «Культура»!

Да так, друзья мои, мы и до Майдана добредём! И до развала собственной страны.

И ещё один эпизод вспомнился мне из моего армейского прошлого, и тоже связанный с песней. Уже позади был год службы в учебном полку, уже были сданы экзамены, проведены зачётные стрельбы, и мы что есть силы готовились к последнему испытанию — торжественному параду по случаю окончания учёбы и предстоящего убытия в войска. И наша одиннадцатая рота должна была идти на этом параде последней.

— Представляете, какая ответственность? — собрал своих ротных запевавший наш Худяшов. — По нам же будут обо всём полку судить!

— Да что уж там, споём... — бодро отрапортовали мы.

— А что?

Тут же посыпались варианты. Почему, скажем, не спеть «Ладугу»? Она у нас лучшего всего получалась:

Сквозь штормы, бури, через все преграды
Ты, песня Ладоги, лети!
«Дорога жизни» здесь пробита сквозь блокаду —
Родней дороги не найти.

Эх, Ладога, родная Ладога,
Метели, штормы, грозная волна!
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа.

Но наш командир роты песню забраковал:

— Не пойдёт! Это может любая рота спеть. А наша...

— Так, может быть, гаркнем что-нибудь украинское?— робко предложил я.— Та же «Розпрягайте, хлопци, коней» вроде бы тоже неплохо получается...

Но и эта песня ротного не устроила: чувствовалось, что он что-то уже решил.

— Сделаем вот что,— наконец сказал он.— Есть тут у меня одна задумка. Осталось только разучить...

И протянул нам листок бумаги.

— Песня старая, суворовская. Но надо её разучить так, чтобы никто не слышал. Чтобы она для всех стала сюрпризом.

И мы склонились над новым для себя текстом...

Я не стану утомлять читателя подробным описанием того, как мы разучивали по-партизански песню, как шагали по вечерам на плацу, в то время как наш полк спокойно смотрел в клубе кино, как долго работали над каждым слогом и над каждой фразой. Я только расскажу про тот день, когда мы сдавали экзамен и когда на трибуне, на плацу, стояло всё армейское начальство. Не только командир нашего учебного полка, Герой Советского Союза полковник Зарембо и его ближайшие помощники, но и окружное начальство, приехавшее на выпуск курсантов из Цоссена, из штаба ГСВГ, возглавляемое седым и грузным генералом, хищно поглядывающим на солдатню, готовую своими сапогами испепелить хваленую немецкую брусчатку.

Уже прошли торжественным маршем под мелкую дробь полковых барабанов все наши предшественники, и наступил, наконец, наш черёд. Слегка побледневший от волнения капитан Худяшов подаёт роте команду, и все сто десять человек чеканят свой первый шаг.

— Запевай!

Ну, мы и начали...

Взвейтесь, соколы, орлами.
Полно горе горевать!
То ли дело под шатрами
В поле лагерем стоять.

Я не ощущаю своего голоса, но боковым зрением вижу, что на трибуне вроде как началось какое-то движение. Даже грузный генерал перестал что-то там обсуждать со своим соседом, а резко повернул в нашу сторону. Да, это вам не «Маруся, раз-два-три, калина», мелькнуло у меня в голове, в то время как из глотки неслись следующие слова песни:

Там, едва заря настанет,
Строй пехотный закипит,
Барабаном в небо грянет
И штыками заблестит.

Шли мы действительно здорово: что-что, а строевому шагу Худяшов нас научил. Но и песня оказалась под стать нашему заключительному учебному аккорду. И когда мы своими лужёными глотками гаркнули последнее:

Закипит тогда войною
Богатырская игра,
Строй на строй пойдёт стеною,
И прокатится: «Ура!»

Взвейтесь, соколы, орлами.
Полно горе горевать!
То ли дело под шатрами
В поле лагерем стоять,—

то все находящиеся на трибуне офицеры уставились на нас как на инопланетян. И когда мы уже оставили трибуну за спиной, вдруг последовала совсем не обычная в таких случаях команда «Стой!». И ничего не понимающий ротный машинально её повторил:
— Рота, стой!

Мы так и застыли как вкопанные. А с трибуны в это время все сбегали вниз, и первым бежал как раз тот грузный и седой генерал, приехавший с инспекторской проверкой из округа.

— Ребята, сынки... Вот спасибо вам, вот уважили...

И мало кто из нашего начальства скрывал свои слёзы. Я тоже почувствовал, как увлажняются мои глаза...

Вот и сейчас, когда продолжается вся эта свистопляска вокруг Украины, когда заморские наши партнёры, говоря словами российского президента, из кожи лезут вон, желая вклиниться своими грязными лапами в наш славянский мир, в нашу цивилизацию, а из динамиков телевизоров и радиоприёмников продолжает нестись англосаксонская речь, я нет-нет да и вспомню.

То своих родных тёток, то мать, а то и трудные, но такие прекрасные годы своей армейской службы.

И всё надеюсь, что кто-то окликнет меня и скажет это резкое и короткое слово: «Запевай!»

Владимир Селянинов

Тяжёлая поступь гордыни

ДАЖЕ КОСТОЧКИ НА КУЛАЧКАХ ПОБЕЛЕЛИ

В рабочем посёлке жила девочка Оля. Она была большой девочкой, училась во втором классе, и у неё были две верные подруги. И между собою у них уже были секреты.

Были у Оли папа и мама. И они жили в своём небольшом доме. Ещё у них был кот Мурзик, а во дворе жил маленький щенок. У него была своя будка, утеплённая папой.

Ещё у Оленьки была кукла. Хорошая, но иногда совершенно неносная. Капризная. Отказывалась ложиться спать. Платица пачкала так, что стирать не успеваешь.

«От меня сильно пахнет бензином?» — спрашивал отец Олю, надеясь услышать от неё признание в любви.

«Сильно. Но маленько», — отвечала Оля папе. Лучше которого, она знала, не бывает.

«Возвращайся с работы скорее», — просила по утрам она маму и бежала к ней по вечерам, радуясь встрече, как это бывает, когда девочка сильно любит маму.

Итак, Оля была уже девочкой большой, и она стала замечать: папа и мама стали меньше разговаривать между собой. Не садились вечером вместе за стол, подшучивая над кем-нибудь. Глаза у них с грустинкой, когда смотрят на неё.

«Я буду плакать», — ответила Оля, когда родители ей сказали, что скоро папа уедет в большой город. Совсем... А Оленька, напомним, любила папу и маму сильно.

Прошёл месяц. Примерно. В её комнату вошёл папа. С изменившимся лицом — старым, глазами, смотрящими мимо. В дверях к косяку прислонилась мама. Глаза красноватые. Оля в это время передевала куклу, поучая, как надо вести себя за столом, не пачкая платице. Которое она не успевает стирать. «Хоть бы ты меня пожалела», — говорила она, когда в её комнату и вошли мама с папой, как бы с не совсем знакомыми лицами.

В то утро папа что-то укладывал в чемодан и большую дорожную сумку. А мама просила положить что-нибудь ещё в большую сумку. «Войдёт», — говорила.

Смотря мимо Оли, папа сказал, что пришёл проститься с самым дорогим ему человеком. Прерывисто дыша, он гладил голову дочери подрагивающей рукой.

«Мне некогда,— сказала Оля.— Ты же видишь, я переодеваю эту ужасную замарашку»,— и всё — не поднимая головы.

Не скоро Оленька поняла, поняла по подрагивающей руке отца, голосу его, что видная ей в другой комнате кровать, покрытая голубым одеялом с такими красивыми синими разводами,— кровать, на которой теперь никогда-никогда не будет лежать её папа. К которому она так любила забраться под одеяло. Тихо-тихо. А он как будто спит, как будто и не слышит. И что папа никогда уже не принесёт в пакете что-нибудь вкусное. Целуя в голову и распространяя вокруг запах своей работы.

Но... вот наступил час. Внутри у девочки девяти лет сработал механизм, что заставил её прижать к себе не куклу, набитую опилками, но существо, которому можно пожаловаться. Её глаза остановились на тапочках у кровати отца. Поношенных, с мятыми задниками... Но такими ей родными.

«Пора»,— сказал отец, как уже о свершившемся. Около чемодана, большой сумки стал суетиться. В движениях его пластики не видно. А дёрганье, суета, как говорил библейский персонаж, утверждавший о большом томлении духа и суете человеков.

«Не уходи»,— сказала девочка. Совсем по-взрослому сказала девятилетняя. В глаза стала смотреть, ища ответ. И не находя. Казалось, как можно такое ребёнку?

Отец поднял чемодан, бросил на ходу, не оборачиваясь: «Не ходите дальше. Держи Оленьку». И быстро зашагал по знакомому переулку. А у его теперь бывшей жены, прислонившейся к воротам, почерневшей от зноя летнего, как бы мышцы на лице застыли. Глаза остекленевшие; на слезинке чуть блеснул совсем маленький кусочек радуги. Блеснул символ примирения и исчез.

«Не уходи! — кричала маленькая девочка в спину согнувшемуся отцу, нелепо размахивающему свободной рукой, по которой всё съезжала с плеча дорожная сумка.— Не уходи!»— кричала маленькая; фигурка её согнута, на щеках размазанных слёз много. Ладшки в маленькие кулачки сжала. Да так крепко, что косточки пальцев побелели, перед самым лицом их держит. Вперёд наклонилась, кричит о своём будущем.

Она станет забывать отца. Вспоминая детали: возможно, об одежде припомнится ей, о выброшенных отцовских тапочках. Настанет время — она постарается укрыться в архаике: в своём роду, воспоминаниях. Но и они, со временем, — как камни, иногда невыносимо большие.

Вот почему маленькая девочка, предчувствуя, кричала, переломившись в пояс, сжимая перед собой кулачки с побелевшими косточками.

Странный-престранный сон увидела в ту ночь Оля. На всю жизнь ей врезался в память он... Но об этом — когда-нибудь потом.

ТЯЖЁЛАЯ ПОСТУПЬ ГОРДЫНИ

В детской больнице сибирского города ещё в советские времена (это чтоб никто не подумал дурно о нынешних руководителях) как-то был случай один — сразу и не берусь назвать это иначе.

К вечеру, после жаркого августовского дня, когда с реки — огромной, что могла бы напоить с десяток-другой таких городов, — чувствуется дыхание прохлады, в приёмном отделении всё ещё оставалось трое-четверо взрослых. К ним жалось несколько испуганных детей; некоторые капризничали.

Среди них был мальчик лет трёх, просивший маму, когда ему позволяло дыхание, не оставлять его в больничке. «Этой ночью», — говорил, не выпуская её руки и не обращая внимания на обильные слёзы. Дышал он тяжело; дыхание с хрипом и кашель из самых недр его тельца. «Я хочу остаться с мамой, — совсем по взрослому он смотрел в глаза наклонившейся матери. — И папу я люблю, — хрипел. — Я хочу остаться с вами», — вставал на цыпочки маленький человечек в коротких штанишках. Открывая рот и вытягивая красный язык, он совсем походил на птенчика в гнезде. Язык тянул, обнажая красную гортань.

Его папа держался, как и положено мужчине. И тогда, когда принимающий в своём кабинете врач, посмотрев хмуро на мать мальчика, сказал: «Немедленно в палату». И назвал номер палаты. Да, достойно вёл себя отец ребёнка, хотя и тогда номер палаты показался ему неслучайным. Ночью ему вспомнились некоторые детали, что увеличивали бремя предчувствия. Вспомнил: няня взяла за ручку его маленького сына, и как же плотно она закрыла за собой дверь! Предчувствия становились осознаннее. Детали гиперболизировались. Стрелка часов двигалась медленно. Его молодая жена, он знал это, только притворялась спящей.

Утром, что-то съев и скоро забыв — что, они поехали в больницу пораньше. Там они стали посматривать на дверь: это было выражение беспокойства и желание скрыть, как им тревожно. Мужчина, посматривая на жену, попытался сделать улыбку. Иногда что-то говорил тихо, наклонившись.

Несколько раз мимо родителей, а собралось к этому времени уже человек пять, проходили разные люди. Прошла и та полная нянечка. Кто-то попытался ей сказать, спросить, но она ответила: «Врач всё скажет». Тот же ответ получила и мама-притворщица, что только вздремнула за ночь. Она сделала полшага в сторону проходившей няни и, как бы став чуть ниже, спросила во второй раз. Нянечка голову приподняла повыше, видимо, чтобы ей было удобнее нести на руке стопку постельного белья. Скользнула взглядом по отцу мальчика, на мать посмотрела не просто, как бы оценивая: соответствует ли её красивый греческий профиль внутреннему содержанию. По крайней мере, посмотрела свысока на женщину, что выше ростом. И, видимо, нашла его, профиль, не соответствующим классическому — уголок её рта искривился.

Так вот, когда молодая женщина приложила ухоженные руки к юной груди и, сделав полшага, нет — четверть шага навстречу, улыбнулась — если это можно назвать улыбкой — попросила (уже в который раз!) сказать, как ночевал её сынишка, то своей невоспитанностью она вызвала раздражение человека, занятого общественно-полезным трудом: «Да умер ваш мальчик... Умер! Что вы, в самом-то деле?» Через плечо посмотрела на мать строго, а потом и на отца. Как бы приглашая его в свидетели дурного воспитания «этой женщины». Да и то, правду сказать, как же надоедливы бывают некоторые. Пристают с разговорами разными. Вопросы задают...

Нянька, теперь я рассмотрел её, толстозадую, уходя, задвигала нижней частью энергично, чем выразила своё достоинство: многие ли способны на слово, чтоб от него вздрогнули некоторые? С грудью молодой, упругой.

Лица родителей за какую-то секунду в маски превратились, а сами они как вкопанные в том месте стоят, как бы в эту секунду вокруг них мир перестал существовать. Маме не менее как под сорок теперь, а в стройные ноги ей свинец налили тяжёлый. Папа челюсть выдвинул. Вздрагивающую. И супруга его фактически оказалась размазней: ручонки свои стала мять энергично. Минутка и понадобилась, чтоб «профиля» не стало. Волосы её, мелкими кудряшками, ещё не побелели, но чувствуется, чувствуется — недолго придётся ждать. Вот мысль на лице молодой мамочки появилась: как же мала она в этом мире! Со своим профилем, ухоженными пальчиками и мелкими кудряшками, пусть и древнего происхождения. Пусть и самого библейского — ничто она перед мышцей, что в сумерках сознания насыщает себя мщением. Никто она перед Его величеством российским Хамом!

Я, свидетель, утверждаю, когда были сказаны слова: «Да умер же ваш мальчик! Ночью», — в это время изменилась походка няни. Это была походка победителя: ноги она ставила носками в стороны, закидывая вперёд. Как это бывает у красавиц в балете, но не у тех, кто вынужден ходить к кастеляну или, скажем, в дровяник за поленом. Её лицо выражало возвышенное чувство усталости от суеты вокруг. Значительное было в каждом её шаге... Я был унижен, как и другие, начавшие отходить спустя время.

...Прошло много лет, и я снова вспомнил того мальчика — беспомощного, ещё не познавшего страха перед жизнью, стоящего перед стеной, которая требует вернуться назад. А вспомнилось давнее в связи с очередной покупкой очередного нувориша. Очень богатого, а покупка его — безумно дорогая. Вот и припомнилась та тётя из больницы — ущербная, страдающая, взбунтовавшаяся. Подумал: одного корня их поступки с тем богачом, что возвысился, посмеявшись в лицо многим. Чтобы знали, кто есть кто!..

Жаль, кто страдал, кто много потерял в этом мире — близких ему людей, познал нищету, был унижен, но ведь он, сильный, и приобрёл

ни с чем не сравнимое — сострадание. Оно, как драгоценная почва, даёт нам примеры настоящих поступков, ибо сказано: «Униженные да возвышены будут». Как не верить?

Вот и смотрю вокруг с надеждой... Прислушиваясь к тяжёлой поступи.

МАТЬ АНТОНА

На берегу большой реки, что в низовьях её и теплоход кажется корабликом, стоит большой город. Прижимаясь друг к другу — как это бывает, когда мало земли или мало царя в голове у руководителей, — сгрудились два десятка домов из серых панелей, в пять этажей. Мало зелени во дворах, разбит асфальт в микрорайоне. Иногда, в поисках съедобного, бездомная собачонка пробежит в сторону столовой. Немного бочком пробежит, катыши засохшей грязи на холках потряхивает. Некоторые, из неопрятных, с утра заспешат в магазин, беседуя между собою оживлённо. Воспоминаниями о вечернем они делятся, взгляды озорные у них. И над всем этим — небо почти без просвета между серыми тучами.

Был май, валялись пакеты с мусором, стыдливо оставленные под покосившимися железобетонными скамейками. Но, вопреки мерзости запустения, чахлые кустарники, ещё зелёные, жались друг к другу. Они хотели жить. Вопреки битым бутылкам и близости важного завода с трубами, взметнувшимися высоко. Дымящими особенно густо ночью, когда все спят. Да, был май, но не покидало предчувствие: всё прошло.

В одном из серых домов, в маленькой квартире с запахом лекарств и другими запахами, что бывают у лежачих больных, жила женщина. Ещё не старая годами, у которой «всё прошло»; как бы в давней, прошлой жизни она мечтала. С ней жил шестнадцатилетний сын-инвалид, страдавший какой-то болезнью, какой болеют только мальчики. Он был чрезвычайно худ, не мог ходить, но был способен держать книжку и писать, а ещё он любил рисовать животных. Его отец, узнав о болезни, ушёл к другой женщине, а мать, инженер-конструктор, научившись вязать красивые свитера, стала надомницей. Ещё она вышивала пейзажи с весёленькими берёзками, иногда — иконы по специальной инструкции. Нашёлся как-то щедрый покупатель иконы Николая-угодника, и они с сыном вспоминали об этом, показывая глазами на светильник и прикроватную тумбочку, купленные на эти деньги. Мать старалась делать лицо, выражающее оптимизм. Иногда ей это удавалось. «А вот когда ты поправишься, мы с тобой поедem в сосновый бор — это совсем недалеко, и ты сам, со своих рук, покормишь белочек орешками».

Когда Антошке исполнилось восемь, мать стала хлопотать, чтобы к нему из школы ходила учительница, а когда он «пошёл» в пятый класс, к нему ходили уже разные учителя. Они хвалили его за хорошие знания, отмечали успехи в зоологии, но в особенности в той её части,

где рассказывалось о жизни пернатых. (Мать сделала, как могла, у окна кормушку для птичек, и Антон записывал свои наблюдения в специальную тетрадь.)

Шли годы, болезнь наступала, в шестнадцать Антону стало совсем худо. Он был лёгок, его можно было «сложить пополам», и он уже не мог держать книжку. «Остался месяц, два», — сказал в кухне их участковый врач. Матери всегда было плохо, но в тот день — особенно. Места себе не находила: выходила на балкон, зачем-то шла на кухню, на свой старый плащ, купленный ещё при муже, смотрела долго... Ещё что-то делала, а спроси что — и не припомнит. Какой-то сон видела... Совсем нехороший сон: камни вокруг, а если присмотреться — совсем и не камни они. Живые... Глаза весёлые.

На следующий день, проведя ночь в беззвучном плаче в подушку, она пошла в школу. Там мать повела себя неадекватно (слово из лексикона образованных): с упорством, достойным лучшего применения (как говорят некоторые из них), она стала просить выдать аттестат зрелости её сыну. Понарошку. Инвалиду детства, не имеющему радости. Никакой. Директор школы отнеслась к этому сухо (евреи здесь ни при чём), говоря о каких-то инструкциях. Но в конечном счёте, посмотрев далеко за окно, пригласила завуча и просила помочь. «Случай исключительный, — сказала, — пожалуйста, сделайте как получше. Ответственность я беру на себя, — говорила. — Выдайте свидетельство».

И вот весной, в тот пасмурный день, с чего мы начали рассказ, — в день, когда далеко-далеко плывущий к Ледовитому океану сухогруз, на котором успешно трудился Антошкин папа, уже имевший к этому времени награду за изобретение и внедрение какой-то железячки, и был назначен день получения свидетельства об успешном окончании школы учеником восьмого класса. Не все были указаны там предметы; Антон же об этом не знал и радовался новой рубашке, какую ему наденет мама. Впервые он попросил повязать ему галстук. А в холодильнике уже была курица, тушенная с овощами, и был купленный мамой торт с надписью «Антону от друзей». Всё было хорошо, чтобы день остался в памяти.

В назначенное время из школы пришли завуч, учительница, что вела какие возможно предметы; пришли двое мальчиков-сверстников и девочка Аня. Завуч от имени школы вручила Антону свидетельство, и все стали поздравлять его и маму. Антон, улыбаясь, перевёл взгляд на девушку. Смотрел он на неё дольше, чем принято, и всё гасла его улыбка. Потом ещё посмотрел и, вздохнув, попросил назвать имя. Девушка легко покраснела, кофточку на груди поправила. Имя Аня Антону показалось необыкновенно певучим, ему хотелось её слушать ещё и ещё. Мама же лицом переменялась, на кухню за тортом пошла быстрее.

«Свидетельство об успешном окончании...» лежало на прикроватной тумбочке. Оценки там были «хорошо», а по зоологии — «отлично».

От школы Антону подарили большую иллюстрированную книгу «Животный мир России». Поговорили, кто что знал, о повадках городских птиц. Аня сказала: «Мне нравится птица свиристель. В конце зимы прилетает». Никто и намёка не сделал о школьных вечерах или, скажем, спортивных состязаниях. Никто не сказал, как хорошо летом в лесу и как далеко-далеко, сбиваясь со счёта, плачет кукушка...

Когда гости стали уходить, они желали Антону скорого и полного выздоровления, а Аня легко коснулась его руки. Очень худой и горячей.

Вот, ушли, как и не было их. Только пошевеливающееся на лёгком ветерке «Свидетельство...» напоминало, что здесь только что была самая красивая в мире девочка. Мать собирала со стола, всё более отворачиваясь от Антона. Чтобы не выдать себя, она вышла на балкон и плотно закрыла дверь, а небо, в рваных без всякого просвета тучах, в это время разразилось ливнем. Сердце матери было готово разорваться от мысли: она уже никогда-никогда не спросит сына об уроках. В её сторону ударил косой дождь, её спина заметно согнулась. Мысль ещё жала сердце; мать, положив в ладони голову, стала покачивать ею в стороны.

Антон чуть слышно позвал: «Мама... Мамочка,— впервые назвал он так мать.— Мамочка, мне страшно...» Мать подставила лицо под упругую струю дождя, но когда она вошла в комнату, её выдавали красные глаза и вздрагивающее тело. Сын отвернулся, его, повзрослевшего за эти минуты, тело было беспокойным. А очень худой рукой он гладил красивую книгу о животных, которую уже не смог бы поднять. Матери потребовалась сила, чтобы не упасть на грудь к нему — единственному, ради чего она жила. Но она только вздрагивала, стоя с ним рядом и смотря мимо.

Она была — Мать, на которой держится мир.

Роман Сенчин

Ничего личного

Из книги «Зона затопления»

Остатки села Большакова — дома Марины Журавлёвой и Масляковых, лесопильный заводик — держались до июля две тысячи двенадцатого года. Первыми сдались Масляковы — жена Александра Георгиевича, не представляя, как переживёт здесь ещё одну зиму, собрала самое необходимое и уехала к старшему сыну в Лесосибирск. Тайком уехала — муж и Дмитрий в это время были в Колпинске на очередном судебном заседании. Вернулись — на столе записка: «Больше не могу. Буду пока у Олега».

Александр Георгиевич, и так за последние два года заметно сдавший: ещё бы, каждый день в таком напряжении жить, — после отъезда жены совсем расклеился, как-то весь рухнулся. Целыми днями сидел за большим столом на кухне, о чём-то всё думал, думал. На вопросы Дмитрия поднимал растерянное лицо, взглядом просил повторить. И даже если сын спрашивал о чём-нибудь пустяковом, вроде: «Есть будешь?» — отвечал с горьким выдохом: «Не знаю, брат, не знаю».

Дмитрий стал бояться оставлять его одного. А как не оставлять? Надо наблюдать за лесопилкой, за продуктами ездить в магазин возле колонии. Глаза бы не видели эту колонию, поселенцев, но куда денешься — остальное кругом всё разрушено, сожжено... Мчался туда и обратно как угорелый, а в голове стучало: «Только бы не сделал чего с собой!»

Через полмесяца Дмитрий решил отказаться от избы, получить квартиру. Повесил на воротах фанеру с надписью: «Не сжигайте! Уехали получать ордер»; повёз отца в город, стали оформлять документы. Созванивались с матерью.

— Не хочу я в Колпинске этом проклятом! — кричала она. — Предлагали же Сосновоборск, вот пусть там и дают!

Дмитрий, смягчая, повторял слова матери сотрудникам дирекции по затоплению. Те с усмешкой пожимали плечами:

— Жилищный фонд в Сосновоборске исчерпан. Остался Колпинск, или вот в Богучанах ещё полдома в резерве.

— Зачем нам Богучаны?.. Они тоже скоро под воду пойдут.

— Ну, это ещё не решено.

— С нами тоже сколько лет не решено было...

Дмитрия перебивали:

— Так, давайте без прений. Мы не проектировщики. Берёте двухкомнатную здесь? Комнаты большие, изолированные. Лоджии под стеклом. Новая планировка.

Дмитрий снова набирал мать, уговаривал согласиться на Колпинск:

— Родные места всё-таки, мам...

— Тем более не хочу! Всё напоминает... И все эти тут же — будут смотреть как на дураков.

— Да почему?

— А что: столько ерепенились, а в итоге — к тому же знаменателю.

— Но что делать-то? Отец... — Дмитрий отошёл в угол кабинета, — отец совсем... неживой совсем стал.

— Ну вот — довёл себя! И меня чуть не довёл. Разве бы я сбежала так?... Поняла, что ещё маленько — и всё...

— Это да. Но делать что теперь? И надо скорей решать — там дом без присмотра, лесопилка...

— Да гори она, эта лесопилка! — заплакала мать.

— Мам, успокойся... Двадцать лет нормально прожили благодаря ей...

— Нормально? В чужих углах теперь...

Дмитрий слушал задыхающийся плач, смотрел на скрючившегося на стуле отца, и его трясло от страха... Да, страшно, когда родители одновременно теряют не только силы, но и разум. Тем более в самый трудный момент. В тот момент, когда нужно объединиться и вместе решить...

— Мам, позови Олега.

— Олег на работе. Он — работает.

«В отличие от меня», — мысленно досказал Дмитрий.

Олег после школы поступил в речное училище, отслужил в армии, а после неё устроился в Лесосибирский порт. В тридцать восемь лет стал старшим сменным диспетчером; и сначала его жена, чуть что, просила: «Олега не трогайте. У него очень ответственная работа», — а потом и остальная родня стала бояться отвлекать. Действительно, занервничает, что-нибудь напутает — и под суд...

В тот день решения принято не было; Дмитрий отвёз отца к Юрию, двоюродному дяде, который жил с давным-давно разведённой женой в одной квартире. Долго они сопротивлялись, судились, требуя каждый по отдельной хотя бы однушке, но в конце концов, боясь вовсе остаться без жилья, согласились поселиться вместе.

— Дядь Юр, можно, батя у вас переночует? — попросил Дмитрий.

— Ну дак конечно... Проходите.

Был дядя тоже какой-то словно крепко ушибленный.

— Проходите... Только у меня кровать-то одна. Но ничего, как-нибудь... Саш, — рассматривал братана, — ты чего такой? — глянул на Дмитрия: — Инсульт?

— Да нет вроде... Не знаю.

Про себя добавил: «Вполне реально. Так за дни перемениться...»
Стал сбивчиво рассказывать, что мать не выдержала, уехала к старшему, с лесопилкой всё по-прежнему непонятно. Вряд ли удастся отстоять или получить компенсацию.

— Значит, переезжаете? — покивал дядя Юра.

— Что ж делать?.. Приходится. Видите как...

— А я не хочу, может! — вдруг вздёрнулся отец. — С какой стати?! Кто меня спросил? — и пошёл из квартиры.

Как Дмитрий и, не совсем настойчиво, дядя Юра его ни удерживали, рвался на улицу. Повторял:

— Домой надо! Домой!

Пришлось ехать с ним.

Дмитрий гнал «Ниву» по разбитой, местами уходящей в болото, давно не подновляемой насыпухе и молил, чтоб дом был целый... На лесопилку уже плюнул — главным было теперь, чтобы дали эту несчастную «двушку» в Колпинске, чтобы родители снова оказались вместе. Перевезти необходимое, а дальше — как-нибудь. Как-нибудь. Теперь — как-нибудь.

Дом был цел, лесопилка — тоже.

Ночью Дмитрий спал вполглаза, слушал отца за стенкой. Тот ворочался, скрипел сеткой кровати, садился, курил... Раньше курил или на крыльце, или — в холода — у печки, теперь же стал в комнатах. Что уж...

Рано утром позвонил брату Олегу — на территории села оставалось две-три точки, где телефон ловил, — стал уговаривать, чтоб убедил мать согласиться на квартиру в Колпинске.

— Да мы едем уже, — перебил Олег, — вместе. К Енисейску подъезжаем. Я как вчера узнал, сразу решил лететь. Надо решать.

— Надо, надо, конечно!..

— Если всё нормально, часам к четырём будем.

По прямой между Лесосибирском и Колпинском километров пятьсот. Но на автомобиле по прямой не доберёшься — Енисей, тайга и болота преграждают путь. Прямых авиарейсов нет. Чаще всего добираются так: едут из Лесосибирска в Енисейск (это километров тридцать), где аэропорт, летят в Красноярск, а уже из Красноярска — в Колпинск. Такая получается дуга в тысячу с лишним километров.

— Тогда в городе встретимся. В дирекции этой, по затоплению. Мать знает, где она.

— Добро.

Теперь нужно было уговорить отца снова одеваться в выходной костюм, садиться в машину... Позавтракали, Дмитрий побродил по двору, попытался чем-нибудь заняться. Не получалось. Вернулся в избу, сказал, что пора ехать...

— Зачем? — отец слабо, но, кажется, искренне удивился. — Мы ведь дома.

— Сожгут нас здесь. Или утопят. Вода каждый день ползёт... Надо ехать. Все уже уехали.

Усадил отца в «Ниву». Закрыв ворота. Рванул.

В течение дня почти всё оформили по квартире. Попытались настоять на трёхкомнатной, которую им когда-то обещали. Но обещавшие давно уволились, а нынешние заявили, что действуют строго по нормативам.

На следующий день прибыл КАМАЗ. Стали загружать мебель, мешки с одеждой, коробки с посудой... Много было упаковано уже давно.

— А с делом-то нашим как? — почти не принимая участия в скорбной работе, спрашивал отец. — Бросаем, получается?

— Сейчас с этим разберёмся, потом с лесопилкой будем решать.

— Так же? — отец кривился в усмешке. — Ну-ну...

— Бать, ты устал, действительно, — мягко говорил Олег. — Отдохнуть надо, отлежаться... Кстати, лесопилка-то на кого оформлена?

— Ну, на батю, ясно, — сказал Дмитрий.

— Может, на тебя доверенность выписать? Чтоб ты был в правах. А, бать, ты как?

— Я, конечно... что ж... Димка со мной всю дорогу. Надо если, я — за.

Уже под конец погрузки пришла Марина Журавлёва. Похудевшая, постаревшая, в серой одежде напоминающая старуху.

— Всё, значит, съезжаете?

Масляковы виновато закивали.

— Я тоже, скорей всего. Нет сил уже никаких. Как стена, не пробить... Вдобавок муж бывший очнулся — Павлика стал искать. Забрать хочет... Главный по опеке грозился материнских прав лишить, как бомжиху. В общем, не мытьём, так катаньем...

— Они хоть кого укатают, — поддержала мать. — Мы-то люди, а они — механизм!

Дмитрию понравилось это сравнение. Представился огромный стальной мутант с сотнями шестерёнок, пил, наждаков, поршней, отвёрток, кувалд... Пыхтит, скрежещет и лезет, лезет на людей, не желающих сойти с дороги. Кувалды, наждаки, пилы бьют, долбят, скребут, режут...

Родители переселились в квартиру, а Дмитрий ещё с полмесяца прожил в родном доме...

Изба стояла пустая, огромная, уже неживая. Вот стоило вынести несколько важных предметов (многое осталось), и жизнь из неё ушла... Дмитрий пытался понять, почему так, и вспомнил один случай из детства.

Когда ему было лет пять-шесть, они всей семьёй приехали в Красноярск. Отец решил показать сыновьям и дочерям столицу края.

Отправились, конечно, в музей. «Там скелет мамонта!» — восторженно говорил отец.

Скелет мамонта — скреплённые проволочками кости — на Дмитрия никакого впечатления не произвёл, а вот стоявший рядом лохматый носорог перепугал так, что он с визгом бросился отцу за спину.

«Ты чего? Он ведь неживой! Гляди, — и отец подвёл его к носорогу, — глаза — это ж стекляшки. У живого бы так горели! И шерсть тусклая... Не бойся, это чучело просто».

И теперь, глядя на родной дом, Дмитрий видел, что он — как чучело. Макет дома уже, а не дом. И окружающее его — тоже.

Наверное, чтобы хоть на какое-то время вернуть сюда жизнь, Дмитрий решил устроить банный день.

Давно как следует не топили баню: зимой ездили мыться к родне в город, в тёплое время года подтапливали слегка, чтоб сполоснуться... Не до настоящей бани без электричества и когда с водой напряжёнка. Колодцы завалили, загадили после того, как большая часть жителей переселилась; мотор, который качал воду из реки для летнего водопровода, сняли ещё раньше. Всё возможное сделали, чтобы оставшимся недовольным расселением жизнь здесь стала невыносимой...

Снял заднее сиденье «Нивы», поставил туда две фляги. В багажник сложил чистые канистры. Захватил ведра, поехал к реке.

Канистры наполнил быстро, а чтобы залить фляги, пришлось помотаться с ведрами туда-сюда — от машины к реке, от реки к машине...

Привёз, вылил во вмазанный в печь бак. Опять же постепенно вылил — черпал из фляг в ведро ковшиком... Затопил печь. Ещё раз отправился к реке.

«Куда столько? — сам себе удивился и сразу объяснил: — Лишним не будет».

Хорошенько помыл тазы, полók; дверь в предбанник держал открытой для света — жар ещё наберётся.

Набил топку сухими берёзовыми поленьями, вышел во двор... Стайки были нараспашку, будто проветривались, сушились для новой животины. За стайками — огромный, но почти заросший сорняком огород. Лишь соток пять засадили весной картошкой; две грядочки под чесноком, одна — под морковкой. Батун, укроп, петрушка росли дикарями... Серьёзное в этом году садить не решились: какой смысл, если в любой момент могут раздавить бульдозером?..

Конечно, если бы мать настояла, был бы огород как в прошлые годы. Но в марте она не посеяла в ящиках семена помидоров, перцев, капусты, и этого вроде не заметили. В апреле не заговорили, что надо вспахать землю... В мае, когда чистили подполье, достали картошку и лишнюю по-быстрому молча раскидали по лункам, присыпали землёй. Не тяпали потом, не окучивали. Но сейчас она так радующе-надёжно темнела густой зеленью в окружении бледно-зелёных сорняков, что казалось: всегда, вопреки всему, здесь будет расти пропитание людям... — Что хотел-то? — спохватился Дмитрий, заозирался, как теряющий память старик. — А, блин, точно!..

Забрался по лестнице на вышку. Там под плахами крыши висели берёзовые веники. Старые, три года им. Но если аккуратно распарить, может, и согдятся.

В ожидании, пока вода станет горячей, заправил две керосинки. Ещё побродил по двору, убрал под навес ящик с трёхлитровыми банками, которые родители хотели взять с собой, но в последний момент бросили: «Куда?»

Вышел за ворота. Первым делом по привычке глянул в сторону лесопилки. Дыма нет. Хорошо... Постоянно, каждую минуту ждал поджога и уже удивлялся, что не жгут.

В балкэ на лесопилке живёт бомжующий мужичок по прозвищу Опанька. Дмитрий подкидывал ему картошки, хлеба, и мужичок исполнял обязанности сторожа. Хотя какой он сторож? Так, видимость: подъедут, велют стоять на месте — и будет стоять и смотреть, как обливают лесопилку бензином, бросают спички...

Повернул голову в другую сторону. Там, на соседней улице, стоял дом Марины Журавлёвой. Изба, защищённая забором с лицевой стороны, окружённая стайками, гаражом... А сзади жидкие прясла, кое-где повалившиеся.

Между этими двумя жилищами — Дмитрия и Марины — изжёванная гусеницами земля, местами заросшая крапивой, лебедой; изредка зеленели недоломанные ветки черёмухи, кусты малины, смородины... Горы мусора уже не так резали глаза, как после пожаров: железо в основном вывезли, обгорелые брёвна затянулись травой...

Неожиданно для себя Дмитрий направился к дому Марины. Решил позвать её на баню.

Сначала она вроде как испугалась такому предложению.

— Да нет... я тут... у меня... — залепетала.

Она была старше Дмитрия лет на пять; он плохо её помнил до всех этих событий — уехала, когда он ещё учился в школе. Время от времени коротко приезжала к родителям... Так, здоровались, как здороваются с любимым в деревне, кроме врагов или откровенно подозрительных незнакомых... И в последние три года, когда оставались в числе немногих жителей, а потом и последними, не сблизилась. Дмитрий завозил Марине продукты, которые передавали её мать с отцом; несколько раз, когда дом Журавлёвых пытались взять приступом эки из санбригады, вступался, требовал документы, постановление на уничтожение построек. Марина тоже прибегала к лесопилке, увидев возле неё движение, тоже кричала, угрожала непонятно чем.

А в основном жили порознь, за своими воротами. Иногда и по неделе не виделись. Заметив Марину, несущую от реки вёдра на коромысле, Дмитрий порывался было помочь, но останавливался — не принято было здесь помогать в каждой мелочи даже родным. В семье обычно каждый занимался своим делом, поодиночке, объединяясь только для такой работы, с которой одному уж точно не справиться.

То же и с соседями. Излишнее внимание друг к другу могло оскорбить, вызвать не слова благодарности, а брань...

— А чего? — улыбнулся сейчас Дмитрий, тоже смущаясь. — Я воды навозил — полные баки. И постирать можешь.

— Тебе постирать надо?

— Нет-нет, мне не надо. Я сам по мелочи... Решил протопить как следует, похлестаться напоследок. Наверно, последние дни остались и мне, и тебе...

— Я послезавтра уезжаю, — сказала Марина. — Мой бывший опять приезжает насчёт Павлика.

— Забрать всё хочет?

— Ну да... Но, думаю, не так уж хочет... Его подкупили, что ли, чтоб меня отсюда выкурить?..

Дмитрий со вздохом покивал, не очень веря в такой хитроумный план. Хотя всё может быть.

— Прижали нас к стене, прижали... Так что, — постарался придать голосу жизни, — придёшь париться? Я не настаиваю, — спохватился, чтоб не подумала, что и у него тоже какой-нибудь план, — просто решил предложить... Ну, так сказать, прощанье с деревенской нашей жизнью.

И Марина неожиданно уверенно сказала:

— Да, приду.

В парилке было пекло — сухой воздух входил в грудь мелкими, короткими хапками, обжигал лёгкие. Сквозь жар чувствовался вкусный запах берёзы — веники в тазу с водой ожили, листья свежо зеленели.

Держа над головой керосинку, Дмитрий заглянул в бак. Вода двигалась, пузырилась.

Больше топить не надо. Достаточно.

Поставил лампу на лавку возле двери — там не так горячо. Не должна взорваться.

Вышел на воздух — и как раз вовремя: в приоткрытую калитку заглядывала Марина.

— Можно?

— Входи-входи! — Дмитрий почувствовал волнение; заволновался не из-за того, что она пришла, а потому, что пришла так быстро.

В одной руке Марина держала свёрток с бельём, в другой — банку с чем-то розовым.

— Остатки брусники вот намешала.

Дмитрий принял банку, повёл гостью.

— Ух ты-ы! — отпрянула, когда он открыл дверь в парилку. — Даже волосы затрещали!

— Где-то шапки были... Не должны забрать...

Поднял крышку короба-лавки, где хранился разный шурум-бурум — старый ковшик, сопревшие вехотки, использованные веники

для голиков... Нашёл несколько войлочных шапок; достал две, вынес во двор, поколотил о столб, выбивая пыль.

— Вот, держи, — подал Марине и решил спросить: — По очереди будем или как?

Она глянула на него, и Дмитрий угадал, что выбирает ответ. Секунду, но не решалась выбрать.

Выбрала:

— По очереди.

— Тогда — прошу. Разберёшься, что как. Воду не жалея.

— На дом мой посматривай. Подойдут, плеснут...

— Ладно.

Дмитрий вышел из предбанника. Снова поклонился по двору. Поднялся в избу. В кастрюле была приготовленная вчера тушёная говядина с картошкой, в ведре с холодной водой утоплена бутылка водки... Пригласить Марину поужинать? Или это уж будет слишком?... Домогательство...

Растопил кухонную печку, поставил греть еду. В голове рисовалась хлещущая себя веником по бокам, спине, ляжкам женщина. Вот сползает с полка, окатывается... Грудь поднимается и опускается от тяжёлого дыхания... Почти два года он один: была подруга, но уехала с родителями далеко, в Шарыпово. Это на юге края. Последние недели перед отъездом она явно ждала от Дмитрия каких-то слов — может, что скажет решительно: «Оставайся со мной!» Или замуж позовёт, или с нею отправится... Но Дмитрий отмолчался, и она уехала. Потом спохватился, стал звонить ей — не отвечала. Длинные гудки или: «Абонент временно недоступен». Ругал себя, клял, что так тогда поступил — то есть никак не поступил. Был во время её сборов и отъезда как в каком-то тумане озлобления из-за гибели родного села, их с отцом дела. Злился и на тех, кто сдавался, уезжал; это, наверное, распространялось и на подругу. Тем более что она, наоборот, воспряла: вот-вот будет жить в благоустроенной квартире, её отцу предложили хорошую работу, до крайцентра часа три на машине...

«Ну и катись», — мысленно бросал ей Дмитрий; старался избегать встреч. И вдруг не стало нужды избегать — исчезла.

Теперь тосковал, скучал. И чем явней становилось то, что и он тоже вот-вот исчезнет отсюда, тем тоска становилась острее. Всё было напрасно — злость, борьба за дом, за лесопилку. Два года прожиты напрасно, неправильно...

Проверил дом Марины. Ни дыма, ни людей... Подошёл к бане. Крикнул:

— Как дела? Нормально?

— Всё хорошо, — ответила Марина из-за двери. — Заходи.

Она сидела в предбаннике, завернувшись в голубоватую простыню. Сладковато улыбалась, и от этой улыбки обычно напоминавшее старушечье лицо стало почти девчоночьим.

— Отличная баня, — сказала. — Спасибо, что позвал.

Дмитрий смотрел на её розовые, без веснушек и родинок, плечи. Кругловатые, крепкие. Знобьящими волнами накатывало возбуждение...

— Да не за что, — ответил механически; присел рядом с женщиной, отвернулся.

— Жалко баню такую, — теперь голос Марины был, как обычно, скорбным, утомлённым. — И всё жалко... У меня в гараже «Иж» стоит. Дедушкин ещё... Так-то вроде старьё, чермет, а как подумаю, что погибнет... Мы с дедушкой так гоняли!..

— Это с такой люлькой остроносой?

— Угу...

— А, да, помню!

И Дмитрий действительно вспомнил тот мотоцикл. За рулём — бородатый дядька вечно в одном и том же спортивном «петушке», а в похожей на ракету люльке, за мутным стеклом, — надменно улыбающаяся девчонка.

— Мы с пацанами тебе завидовали страшно. Сколько раз собирались колесо у люльки проколоть.

— Да? — смешок.

— Ну так — даже в магазин на мотике!

— Мы в такие чащобы на нём забирались! И на «уазике» не проедешь. Раз чуть не опрокинулись, после этого деда меня ссаживал — следом бежала, а из выхлопушки — столбы чёрного дыма... Я и спала иногда в коляске. Днём заберусь в гараже и сплю, будто в путешествии... Что ж, — спохватилась, — собираться буду. Заболтаемся, а жар спадёт, тебе не хватит.

— Да ладно, если что — подтоплю... — Дмитрию хотелось ещё поговорить; нашёл повод: — Картошку выкопать надо, со дня на день заявятся ликвидаторы.

— А вы, что ли, садили?

— Да немного... Слушай, может, посидим после баньки? У меня мясо с картошкой... выпьем по капле...

Посмотрел на Марину — и снова увидел её такую волнующую не решительность. Эта секунда показалась ему длиннющей, как прыжок с чего-то высокого...

— Не надо, Дим, — мягко попросила. — Не надо... Сейчас вот хорошо, и пусть так... Спасибо тебе.

— Хм, ты уже благодарила.

— Я не за баню сейчас...

Она ушла другой, чем была последние месяцы. Распрямилась, посветлела. Словно разбила и смыла с себя шершавую корку горя, убивающего напряжения, иссушающего ожидания худшего.

Легко шагала по бывшей улице, и Дмитрию казалось, что сейчас подскочит и побежит вприпрыжку, как в детстве девчонки любят...

Долго, в несколько заходов, стегал себя веником. Листья летели в разные стороны. . . Когда силы кончались, выбирался в предбанник, хватал свежий воздух, прокашливался, сплёвывая в поганое ведро скопившуюся в лёгких сероватую слизь. Отпивал брусничную воду и снова заходил в парилку. Бросал на камни кипятка, лупцевал спину, бока, грудь, ноги.

В последний заход помыл шампунем голову, ополоснулся. Поставил таз на полок дном вверх, на него — ковшик. Вынес лампу, затушил. — Ну, всё.

Решил полежать с полчаса, но уснул и без ужина, не выпив ни рюмки, проспал до позднего утра.

Проснулся лёгким, невесомым, долго, не шевелясь, лежал на спине, медленно и подробно, как в чужом доме, оглядывая комнату.

Сквозь прикрытые ставни пробивался яркий свет летнего солнца, и сумрак разрезали сочно-белые, будто свежая краска, полосы.

В сумраке прятались наваленные по углам горки домашнегохлама, который скапливался годами, вроде и не мешал, находясь под комодом, в шкафу, под кроватью. Но началась сортировка — что брать с собой, что оставить, — и он тут же заполнил пространство. Растолкали, и пусть остаётся.

Стены голые. Бледные пятна на тех местах, где стояла мебель, висел ковёр. Лишь карта мира уцелела. Старая, на которой СССР, ГДР, Югославия. По ней старший брат и сёстры учили географию, потом и Дмитрий, но уже зная, что не всё там так, как стало. . . Хотели поменять на новую. Так и не поменяли. . . Мать иногда протирала влажной тряпкой покрывающую континенты и океаны плёнку.

С карты взгляд переполз на потолок. Неровный, шишковатый, с выпирающей балкой-матицей. Она казалась надёжной, как хребет. . . Дмитрий пытался представить, какое дерево пошло на эту балку. Огромное, старое, но здоровое. Скорее всего, сосна, а может, и лиственницу такую нашли. Кто-то из предков нашёл, выбрал в тайге, долго спиливал с кем-нибудь в паре. Наверняка ручной пилой джиркали. . . Срубили сучья, вытягивали на верёвках к дороге, потом как-то доставили в деревню. Наверное, лошадь тащила или грузовик, но всё равно дело нелёгкое. . . Ошкурили, отесали, отпилили по размеру, дали высохнуть. Подняли на сруб, уложили, настелили плахи, сверху засыпали глиной. Возвели крышу. И вот много десятилетий эта балка держала потолок, окаменела под штукатуркой, извёсткой. Оберегай её от влаги — и, скорее всего, будет такой же крепкой и надёжной вечно.

В балку ввинчен крюк, за который зацеплен провод. Ещё недавно здесь висела люстра с тремя лампочками, окружёнными стеклянными чешуйками. Когда лампочки горели, чешуйки переливались красноватым, голубоватым, и вся комната расцветивалась бледной радугой. А сейчас чернеет страшный, не отпускающий крюк.

«Так, вставать, вставать!» И Дмитрий вскочил, сделал несколько упражнений — подобие зарядки, быстро оделся. Убеждал себя, что впереди полно срочных и важных дел.

Когда и на чём уехала Марина, он пропустил. Может, на лесопилке был, или за продуктами отскакивал, или картошку копал, увлёкся, или просто в избе сидел. Понял, что её больше нет, услышав деловитые, безбоязненные крики мужиков, взрэвы бульдозера.

Вышел за ворота. Возле Маринино дома сновали человечки в серых куртках, забрасывали в кузов грузовика какие-то предметы — отсюда не разглядеть. Громыкнуло железо. Может, сейчас и «ижак» выкатят...

Вернулся во двор, заложил калитку. Стал собирать ещё остающееся важное, грузил в «Ниву». Скатал бельё, перину... С минуты на минуту явятся и сюда. Их дом тоже формально не существует — в паспортах и родителей, и Дмитрия новая прописка.

— Есть кто? — сипловатое. И следом удары черенком то ли лопаты, то ли топора в калитку. — Хозяева-а!

На моментом ослабевших ногах Дмитрий подошёл, открыл.

Этих мужиков он знал — поселенцы с колонии. Два года воевал с ними, и вот они победили. Стояли и держали на губах усмешки. Казалось, сейчас сплюнут ему на ботинки и спросят: «Ну чё, чмырина, приплыл?»

— Пора, — сказал явно бригадир, здоровенный, пожилой уже, но крепкий; за какую-нибудь драку с увечьем сел, отбыл на зоне сколько-то лет, а потом оказался на поселении, сделался начальником. — Готов, нет?

В этом «нет» слышались нетерпение и заведомая досада, что сейчас этот паренёк опять начнёт сопротивляться, утверждать: ещё ничего наверняка не решено, где документы?..

— Готов, — сказал Дмитрий. — Машину выгоню...

Снял жердь, раздвинул ворота. Сел в «Ниву», завёл. В зеркале заднего вида торчали поселенцы-ликвидаторы. Медленно стал выезжать; они расступились и неспешно направились во двор. Дмитрий выскочил:

— Э, мужики! Я сам!

— Что — сам?

— Сам подожгу.

— До «подожгу» долго ещё. Надо проверить.

— Чего здесь проверять? Всё, освободил.

— Ну, — бригадир нахмурился, — вдруг баллон какой газовый, бочка из-под бензина...

— Нет тут бочек никаких. Всё в порядке.

— Рамы снять надо, — искал бригадир новые доводы, — металл убираем. Негорючее всё. Тут система целая...

Дмитрий устал. Готов был позволить им хозяйничать. Но глянул на дом Марины, который ворошила оставшаяся часть бригады, пред- ставил чужих под родной крышей и стал закрывать ворота.

— Нет, я сам. Давайте бензин.

— Слушай, ты свои порядки не наводи. У нас — санобработка терри- тории, а не просто — подошёл, спичку кинул... Едь, парень. Тем боле тебя тут как бы и нет уже...

— Были дома, которые со всеми вещами жгли!.. Ничего...

Поняв, что бензина ему не дадут, да его и не было у мужиков с собой, Дмитрий достал из багажника «Нивы» канистру.

Теперь бригадир встал на пути. Сказал сухо, с угрозой:

— Нам велено негорючее вынести, стёкла снять...

— Мужики, — Дмитрий неожиданно для себя заговорил жалобно, умоляюще, — дайте мне самому... Это мой дом, я здесь всю жизнь... Не могу я, чтоб вы... — запнулся, но досказал: — Курочили.

Бригадир обернулся к своим. Те равнодушно ждали. Один буркнул:

— Я хрен его знает.

— Чё — хрен его знает?! Ты ж потом будешь в золе этой рыться — сте- кляшки выгребать, железки. Шифер вон...

— Да шифер сгорит, — по-прежнему просительно заметил Дмитрий. — Его снять положено, вывезти. Это яд... — бригадиру надоело, мах- нул рукой. — Всё, в общем, грузись и едь. И — забудь. Всё аккуратно делаем.

И Дмитрий отступил. Сунул канистру обратно.

— Ладно. Только побуду в избе минуту, — он не курил, но сейчас захотелось. — Сигарета есть у кого?

Бригадир неуверенно, опасаясь какой-нибудь хитрости, достал пачку «Явы». Дмитрий вытянул за фильтр сигарету.

— А спички?..

— Хм... Как ты поджигать-то собирался?

— Да есть где-то... сейчас не соображу...

Бригадир щёлкнул зажигалкой. Дмитрий затянулся, с трудом протолкнул дым в грудь.

— Погодите, я сейчас. Быстро...

Сел на лавку у порога. Поплывшим от табака взглядом обвёл кухню. Два закрытых ставнями окна походили на глаза, которые выпучились там, под слипшимися веками, хотят и не могут разорвать их... Огромный стол напоминает скелет какого-то безголового жи- вотного — непривычно пустой, голый без клеёнки... Печка казалась уменьшившейся, кривоватой, жалкой.

Дмитрий попытался вспомнить, какой кухня была тогда, когда здесь жили, не думая о переезде. Почему-то вспомнилась бабушка, мнувшая тесто на пельмени. Дед чинит подошву унтов; Дмитрий, маленький, ничего ещё не умеющий, следит за их работой, учится... В горле булькнуло рыданье.

Бросил окурок в чёрную пасть печки, вышел.

Обосновался в подсобке на лесопилке; сторожку занимал Опанька — не выгонять же... Пока поживёт здесь, до холодов ещё далеко. Тем более что печка есть — маленькая, железная. Ею не обогреешься, но хоть картошку сварить...

То и дело смотрел в сторону своего дома, который был не виден за бугром. Ждал дыма. Дым не появлялся, и становилось всё тревожнее... Небо чистое, ярко-голубое. Но солнце не печёт, греет сдержанно, бережно, воздух влажноватый — лучшая погода для огородных посадок. В такую погоду огурцы, помидоры, остальное прямо прёт, наливаются...

Устроившись в подсобке, расстелив на нарах постель, направился в цех.

Ходил вдоль полотна, по которому гнали кругляк к пиле. Постоял возле накрытой мешковиной циркулярки; вспомнилось, как она чуть не отхватила ему палец. Обрезал доску, и она зацепилась за борт полотна неровно срубленным сучком. Дмитрий толкнул её сильнее, рука сорвалась. Он до сих пор чувствовал холодный ветерок вращающегося диска и коготок стального зуба, царапнувшего кожу. Царапнул еле-еле, даже кровь не пошла, лишь осталась белая полоска... Дмитрий выключил циркулярку, сел на штабель досок. Трясло. Впервые оказался на той грани, что отделяет здорового человека от калеки. Представил, как бежит с окровавленной рукой домой, разрушает своей бедой непростую, но размеренную, крепкую жизнь семьи...

Это воспоминание потянуло следом другое. Лет в десять Дмитрий поехал с отцом в Колпинск, и там отец встретил знакомого. Вместо трёх пальцев на его правой руке были багровые пенёчки.

«Ты куда пальцы дел?!» — воскликнул отец.

Знакомый прямо расплылся в улыбке и с этой улыбкой сказал: «Да Ельцину отправил. Ему нужней — страной руководить».

Эта улыбка и шуточный тон потрясли Дмитрия. И уже когда ехали обратно в деревню, решился спросить: «А что, он рад, что ли, что без пальцев остался?» — «Да как рад? — не понял отец. — С чего ты взял?» — «Ну, улыбается, шутит». Отец покачал головой: «А что ему остаётся? Про себя-то рыдает — в сорок лет инвалидом остаться. Потому и шутит, чтоб себя не добить».

Тогда Дмитрий не поверил такому объяснению, а точнее — не понял. Ему хотелось ещё спрашивать, но боялся узнать что-то настоящему страшное, отчего представление о жизни перевернётся.

Да, не стал спрашивать, а потом постепенно забыл о том беспалом. И вот вспомнилось, обдало мертвящим ветерком, какой кружится возле зубьев-крючков циркулярки, и Дмитрий, здоровый, целый, ощутил себя увечным — без рук, с изрезанными внутренностями. Бессильный, ни на что не способный, бесполезный. Осталось лишь зло

шутить, чтобы не полезть в петлю. Но и шутить не получается — мозг размяк, растрясся...

Сдёрнуть мешковину с пилы, включить двигатель, закатить на полотно бревно... Даже потянулся к щитку — и замер, и захохотал: света-то нет. Электричества нет. Там, в тридцати километрах, вот-вот загудит ГЭС, погонит куда-то киловатты по толстым проводам, и ради этого их лесопилка — то, что делало их семью неинвалидами, некалеками, — должна исчезнуть. Сгореть, погрузиться под воду. — Оп-па, эт ты!.. — изумлённый и обрадованный голос. — Я думал, чужой кто, дрын вот прихватил...

Из-за штабеля бросового горбыля вышел Опанька. Невысокий, плотный, в старой, но вполне приличной штормовке, истёртых, но чистых джинсах. В одной руке и впрямь палка, в другой кукан с десятком рыбёшек.

— Тоскуешь? — кивнул на пилу. — Да-а, я б тоже послушал визг её. Песня жизни, хм...

Дмитрию стало полегче от схожести их мыслей — своих и этого бесприютного человека.

Опанька появился в Большакове лет пять назад, и не из дичающих таёжных деревень, а откуда-то, как здесь говорили, с материка. Обитал в брошенных избушках; когда его выгоняли из одной, перебирался в другую. Иногда пропадал, потом объявлялся снова. Временами подрабатывал здесь, у Масляковых, а когда лесопилка перестала действовать, стал добровольным сторожем за крышу над головой — маленький дощатый балок-сторожка с одним оконцем. — Я вот с уловом, — приподнял Опанька кукан, — наварим давай. Или домой поедешь?

— Я здесь теперь.

— Всё? — в голосе сторожа послышался испуг.

— Угу... Жду вот, когда дым пойдёт. Но не жгут чего-то.

— Потроша-ат. Им всё в дело...

Дмитрий поморщился:

— Не надо.

— У, понял-понял... Как, ушицу заварганим?

— Не хочу. Вари... Я в подсобке себе устроил — там пока поживу...

«Пока, — повторил мысленно и так же мысленно спросил Опаньку: — Мне-то есть куда потом, а тебе?»

Не спросил, конечно. Ушёл в подсобку, лёг на нары не раздеваясь, поверх покрывала, накрылся курткой. Стали лезть мухи, комары; перетянул куртку на голову. Спрятался.

Почти два месяца удерживал Дмитрий лесопилку. За это время в городе был считанные разы — проведаль родителей, всячески уверял их, что дела идут нормально. Продуктами затаривался в магазине возле колонии, у поселенцев покупал бензин для «Нивы». Деньги они

брали неохотно, требуя водку, которую в их магазин не завозили, но у Дмитрия водки не было. «Не езжу в город, комиссию жду насчёт компенсации», — объяснял, заодно давая понять, что с лесопилкой дело в процессе решения и жечь нельзя.

Но на самом деле было иначе. Разбирательство в суде застопорилось, заявления в разные краевые инстанции возвращались в район. «Замкнутый круг», — привычно объясняли это себе Масляковы. И чем, как разорвать этот круг — непонятно.

Родители получали пенсию, помогал Олег, а Дмитрий был хоть и защитником семейного дела, но в то же время вроде как и нахлебником. По крайней мере, себя так ощущал. Подумывал начать снимать оборудование лесопилки, продать двигатели, пилу — и не решался приступить. Всё надеялся.

Рыбачил, рыбой и питался в основном: варил, жарил кое-как на печке. Шли по большей части ельцы, окуни, сорога, пескари, которых у них называли «мокчёны» и ели далеко не все. Брезговали. Но иногда попадались и ленки, хариусы, причём нередко в тех местах, где им совсем не место, — не на быстрине, а в заводях. Будто с ума сошли от перемен на реке.

А река менялась чуть ли не на глазах. Расползалась в стороны, течение было какое-то круговое, а то и обратное. И порой Дмитрий, когда видел, как вырванный куст или коряга плывёт к истоку реки, пугался, что тоже спятил.

Часто жужжали моторные лодки, бухтели паромы и баржи. Что-то всё вывозили и вывозили с верховья.

В конце августа Дмитрий получил важное и тревожное известие. Как раз рыбачил недалеко от лесопилки, а по реке спустились на моторке двое в окружении мешков.

Неожиданно лодка свернула, мотор с жужжания перешёл на прерывистые взвивы, а потом и умолк. Мужики приближались к Дмитрию.

«Блин, всю рыбу распугают!» — разозлился он; здесь неплохо брало. — Здорово! — не причаливая, упираясь в дно веслом, сказал дядька лет шестидесяти. — Ты Маслякова сын?

— Ну да. А что?

— А мы Мерзляковы... Хм, похожие фамилии...

«Ради этого и подплыли?»

— Мы из Пылёва сами, — продолжал дядька. — У бати твоего бруса брали когда-то. Видим, пилорама стоит...

— Стоит. Но не работает.

— Да это понятно... В октябре гидру запускают. Накапливают воду. По восемь сантиметров в сутки поднимается... Пришлось вот картошку срочно копать...

Дмитрий покивал, желая, чтобы они поскорее отправились дальше. Чтобы исчезли. Не хотелось разговаривать. Только-только наступило в душе какое-то равновесие, приучился жить почти первобытно, привык

к ожиданию набегов врагов, был готов их отражать; в определённом режиме жил. И вот подплыли свои и грузят.

— Слышали, распоряжение дано с пилюрамой вашей разобраться,— продолжал дядька.— Мусора повсюду полно остаётся, а целых построек не должно быть. Так что будьте в курсе.

— А от кого слышали?— спросил Дмитрий.

— Знакомый в дирекции работает. У них совещание было, получили, сказал, втык за пилюраму. Из Москвы может комиссия приехать, а она стоит...

— Понятно.

Лодка ушла дальше; Дмитрий попытался ещё порыбачить, но не клевало, да и не стоялось уже на месте. Вроде бы ничего такого мужики не сказали, но тревога росла, превращалась в панику...

За эти месяцы поселенцы приезжали чуть не по два-три раза в неделю. Явно на разведку, хотя маскировали это под не очень-то ловкие поводы: предлагали купить то бензин, то солярку, продать железо. Иногда Дмитрий покупал бензин, но чаще аккуратно, без резких слов, отказывался. Не стоило их злить, провоцировать на ссоры. Они, видимо, только и ждали, когда Дмитрий пошлёт их подальше, чтоб налететь... Дмитрий сдерживался, поселенцы уезжали.

Официальные власти не появлялись. Суд молчал. И до слов этих Мерзляковых Дмитрий уверился, что лесопилку просто бросили: дескать, сама собой утонет. В прямом смысле — концы в воду.

Но вот, оказывается, начальству — непонятному, многоголовому, неизвестно, кого именно представлявшему, государство или миллиардера по фамилии Баняско,— очень нужно, чтобы лесопилка перестала существовать до затопления.

Дмитрий долго ходил вокруг двигателей, пил и цепей и в конце концов решил: вывезет хоть что-нибудь, хоть что-то спасёт.

Снял деревянный короб с мотора «Тайга», стал откручивать гайки. Мешали работать воспоминания, как радостно, с осторожностью устанавливали лет семь назад этот самый мотор. И вот толком не поработавшую, не отработавшую свою цену «Тайгу» приходится снимать.

Появился Опанька:

— Помочь?

— Пока не надо.

Лучше одному, наедине...

Дмитрий с Опанькой почти не общался. Виделся, конечно, постоянно — обитали-то в метрах друг от друга,— но разговоров избегал. Его раздражал, злил обустроенный, размеренный, вопреки обстоятельствам, быт Опаньки, его бодрость, песенки вполголоса. Казалось, что вот человек, долго мыкавшийся по свету, наконец нашёл своё место, обрёл смысл жизни.

Основным занятием Опаньки была заготовка дров. Притаскивал лесину, долго швыркал ножовкой. Отпилив чурку, колол её на поленья.

Снова швыркал... Складывал поленницы вокруг сторожки, словно воздвигал ещё одни стены.

— Теплее будет, — похлопывая по поленницам, объяснял. — От ветра защита.

Дмитрий пожимал плечами, удивляясь его уверенности в том, что будет здесь зимовать. Потом понимал: да нет, не уверенность, а надежда. Надежда, стремящаяся стать уверенностью. Дескать, вот так всё и будет. Оставят их в покое, бросят, забудут. И вода остановится рядышком...

А на что ещё надеяться? Он, Дмитрий, если прижмёт по-настоящему, сядет и уедет к родителям, а Опанька?.. И в дом престарелых не пустят — молод ещё для престарелого.

Может, потому и не сходилась с ним близко, не вёл откровенных бесед у костра, не ел им приготовленное, чтобы потом, когда придётся оставлять это место, не чувствовать вину перед этим вновь лишившимся приюта мужичком. «И так даю ему пожить, — успокаивал себя Дмитрий, — даже в лучших условиях, чем сам. Сторожка — почти изба, а у меня — сарай. Вот-вот насквозь промёрзнет».

Через пару дней после разговора с Мерзляковыми Дмитрию нанесли визит. Позже, после последовавших за этим событий, он пытался сообразить, что значил этот визит — то ли последнее предложение, то ли окончательное предупреждение, то ли отвлекающий, путающий манёвр...

Подъехал к воротам — Дмитрий держал их на замке, хотя ограды вокруг них по существу не осталось, — огромный чёрный внедорожник. Выбрались из него немолодые плотные мужчины. Сразу видно — не работяги. Двое в костюмах, один в плаще... Водитель, видя, что Дмитрий идёт к воротам медленно, посигналил — поторопил.

— Вы хозяин? — кивнув на строения, поинтересовался седоватый, восточной внешности и говоривший как-то по-восточному мягко мужчина.

Дмитрий остановился в шаге от ворот из стальных прутьев.

— Да. А вы кто будете?.. Если не секрет, конечно.

— Не секрет, — восточный улыбнулся. — Я директор дирекции по подготовке водохранилища. Рашид Рифатов, — и добавил веса отчеством: — Рашид Рагибович.

— Директор? Другой же директор был.

— Котельников?.. Он ушёл.

— Хм, — Дмитрию стало забавно, — недолго посидел.

— Недолго, — Рашид Рагибович переступил с ноги на ногу. — Вы нас пустите? Нехорошо через решётку.

Дмитрий открыл ворота. Трое начальников, стараясь идти по траве, а не по комьям земли, двинулись к лесопилке.

— Предприятие, как я понимаю, в рабочем состоянии, — сказал директор. — Оборудование укомплектовано...

— Да.

Говорить, что начал разбирать пилы, Дмитрий не стал.

— А что же вы так — всё ложе водохранилища готово, только вы остались? До пуска — месяц. И... — Рашид Рагибович сделал значительную паузу. — И участие самого президента согласовано. Понимаете? Он нашёл время, а здесь... Может сорваться такое событие. Как так, уважаемый?

«Уважаемым» без имени Дмитрия до этого называли только милиционеры...

Рашид Рагибович остановился и вопросительно-грустно смотрел на Дмитрия. Даже как-то жалеюще, как на неразумного, которого и жалеешь за неразумность, и наказать бы нужно...

Против воли Дмитрий почувствовал себя действительно виноватым. Отвёл и опустил глаза. Но стоило только перестать видеть глаза директора, гипноз пропал.

— Мы бы давно перевезли, когда бы нам место дали. В двух судах судились, оценку делали, какая должна компенсация быть, если вот так всё оставить.

— И что же дала оценка? — со скрытой усмешкой спросил человек в плаще.

— Четыре миллиона.

— Да? — Рашид Рагибович недоумённо и тоже вроде как с усмешкой приподнял густые седоватые брови. — Это немало. Очень немало... Из чего возникла такая сумма?

Дмитрий хотел было начать перечислять, сколько стоят оборудование, техника, сколько коллектив лесопилки потерял на вынужденном простое... Вместо этого, чувствуя всё нарастающую злобу, особенно после усмешек, сказал:

— Все расчёты у вас в дирекции лежат. Поглядите.

— Но хотелось бы услышать от вас. На месте, так сказать... Мы вот можем обосновать каждый рубль. К финансам относимся очень серьёзно, — и Рашид Рагибович из доброго большого человека стал стремительно, с каждым словом, превращаться в сердитого, готового покарать. — Впервые за двадцать лет государство запускает крупное, стратегическое предприятие. Брошены все силы, техника, трудятся в усиленном режиме на достижение одной цели тысячи людей. Тысячи! И тут находятся такие, которые не только не помогают, а ставят палки в колёса. Которые, по существу, саботируют!

Дмитрий слышал такое только в старых фильмах. Кажется, именно с такой же, слегка нерусской, интонацией подобное там и говорилось. «Когда все в едином порыве!..»

Стало весело, как перед дракой. Сказать сейчас этому нелепому оратору пару ласковых и выпроводить гостей за ворота. Они вряд ли будут сопротивляться. Повесить замок... А если не захотят уходить — в подсобке есть ружьё. Покушение на частную собственность считается уголовным преступлением...

Директор, видимо, уловив настрой этого парня в камуфляжном бушлате, сменил тон:

— Есть такое к вам предложение: мы предоставляем вам две машины ЗИЛ. Паром выделить нельзя — он не сможет причалить... Так вот, послезавтра придут машины, вы грузите технику.

— А дальше? — у Дмитрия загло в груди.

— Сергей Андреевич, — директор указал на мужчину в плаще, — думаю, изыщет место на складах для временного хранения. Я не ошибаюсь, Сергей Андреевич?

— Попытаюсь.

— Нет, так не пойдёт, — теперь Дмитрий усмехнулся. — Нам нужна земля, хотя бы полгектара. Не для того мы все эти пилы покупали, чтоб они ржавели на складе.

— Но я же сказал: для временного хранения. Администрация района рассматривает вопрос о предоставлении участка под ваш бизнес.

— Два года уже рассматривает...

Рашид Рагибович стал терять терпение.

— Молодой человек, эта земля, — мотнул головой полукругом, — уже документально изъята для государственных нужд. Государственных!

— Государственных? А вроде ГЭС Баняске принадлежит, миллиардеру этому...

— Ох, вы, кажется, совсем не понимаете особенностей времени. ГЭС — проект, в котором участвуют и частный бизнес, и государство. Так принято во всём мире. Во всём цивилизованном мире!.. — Рашид Рагибович сделал короткую паузу, чтоб успокоиться. — Дирекция по подготовке в моём лице, администрация района в лице вот Романа Борисовича готовы пойти вам навстречу. А вы — не хотите. Поймите, что своим немотивированным упорством вы тормозите всю цепь. Сложную, долго и трудно создававшуюся цепь. Вы знаете, например, что людям в колонии угрожает голод?

— В смысле?

— Колония фактически не выполнила условия договора по санитарной очистке территории. И им не перечислены деньги на закупку питания. Колонии-поселения, как вам наверняка известно, находятся на самоокупаемости. И вот мы не знаем, чего ждать от заключённых — уже начались признаки недовольства...

«Намёк понят», — отметил Дмитрий; ждал, что ещё скажут директор и эти двое его сопровождающих.

— Поэтому мы очень просим вас пойти нам навстречу, — голос Рашида Рагибовича снова стал мягким, почти униженным. — Мы пошли, и вы тоже пойдите... Выделяем два грузовика, рабочих, если нужно, и место на нашем складе. И рассматриваем возможность выделения площади под производство. Так ведь, Роман Борисович?

Представитель администрации с явным неудовольствием произнёс: — Это предмет для переговоров.

— Так что, уважаемый, отправлять машины?

Дмитрий секунду-другую сомневался. Потом сказал:

— Без документов, что нам предоставлена земля под лесопилку, я ничего перевозить не буду.

— Да ведь это не решается за пять минут!

— У вас два года было... больше даже, чтобы решить... Гнать людей с той земли, где они жили, вы можете... — Дмитрия колотило, говорить стало трудно, будто его кто-то хватал за горло. — Гнать можете, а взамен давать — переговоры. Интере-есно!..

— Вы тут анархию не проповедуйте, — жёстко заговорил Роман Борисович. — Это не старые времена, когда любой захватывал и делал что хочет. Хотите — покупайте. Частная собственность на землю у нас теперь разрешена. Покупайте и распоряжайтесь.

— На какие шиши?

— Берите кредит. Или — заключайте договор на аренду. Вообще, все предыдущие годы вы арендовали землю с вопиющими нарушениями, и по закону и вас, и администрацию сельсовета нужно бы привлечь к ответственности...

— Да на этом месте свалка была!..

Роман Борисович развёл руками:

— Территории промышленных и бытовых отходов существуют везде...

— Всё, достало! — Дмитрий почувствовал, что вот-вот может броситься на этого непрошибаемого, крупного, сытого представителя. — Вам надо, чтоб нас не было, а мы — будем! Всё, до свидания.

— Нехорошо вы говорите, — азиатская манера проявилась в голосе Рашида Рагибовича особенно отчётливо. — Нехорошо. Мы — к вам, а вы навстречу пойти не хотите... Но прошу вас подумать.

— Я давно обо всём подумал, — Дмитрий стал слегка успокаиваться, решил ещё раз объяснить. — Сами смотрите: у моей семьи был этот заводик. Отца упросили на месте свалки сделать что-нибудь... Мы работали, людям работу давали, у нас покупали доски, брус, дрова... Тут объявляют: «Всё, выметайтесь!» — «Куда?» — «А куда хотите!» Это как, нормально? А?

— Послушайте, — заговорил Роман Борисович, — если бы вы были одни у нас, это одно. Но мы переселяем тысячи людей. Из них сотни — предприниматели... Такого в новейшей истории России вообще ещё не было, чтобы столько людей с места на место... Сейчас нет возможности предоставить вам участок, и даже в законе такого нет... Но мы будем пытаться решить вашу проблему. Пока же предлагаем перевозку и склад для хранения.

И тут, в который раз услышав про склад, Дмитрий перешёл границу, отделявшую зыбкий мир от откровенной войны. В запале крикнул:

— Да не нужно нам ваше хранение! Мы работать хотим! Когда дадите возможность работать, тогда будем разговаривать...

— Значит, вы категорически отказываетесь от наших предложений? — уточнил директор, гневно щурясь.

— От таких — да!

Дмитрию казалось, что ещё немного — и он додавит: отступить-то этому начальству некуда, поэтому и примчались...

— Что ж, нехорошо. Мы к вам с душой, а вы — так... Очень нехорошо.

Рашид Рагибович развернулся и пошёл к воротам. Следом — остальные двое... Дмитрий расслышал, как Сергей Андреевич, мужчина в плаще, заворчал:

— Я ж говорил, что ничего не даст. С этим народом... Зря только время потратили.

После разговора Дмитрий не мог найти себе места. Захлёстывала злоба вперемешку с почти детской радостью победы и уверенность: начальники примут его условия. Дотерпел, додержался, дождал!.. Испугались, когда припёрло, примчались сами. Понятно: возьмёт и решит президент перед запуском ГЭС посмотреть, как там на водохранилище. А тут — бац! — лесопилка с ним, Дмитрием. Кто? Почему? По какой причине не переехал? И полетят головушки. Котельников, предыдущий директор по подготовке к затоплению, с год всего просидел в своём кресле и слетел. До него Наговицына, такого жучару, тоже со скандалом уволили. У Рашида этого наверняка тоже не всё чисто... «Норма-ально, — потирал руки Дмитрий, — сдвинулось!»

Даже позвал Опаньку распить заветную бутылку водки, стал рассказывать, что за люди были днём. Не смог удержаться — порадовался вслух скорой своей победе. Опанька же, наоборот, затосковал, задумался.

«Действительно, ему-то это приговор. Куда ему, когда я всё вывезу, а остальное спялят?» Хотелось как-нибудь ободрить. Но как?

Допивали уже в молчании.

Ночью приснился яркий, совсем как жизнь, сон. С сюжетом.

Вот он в квартире, утро. Светлая, просторная комната, ванна белая и тёплая... Вот завтракает — но почему-то один, родителей нет нигде, — и едет на работу.

Заводик тоже светлый, из свежего дерева, крыши пилорамы, сторожки, подсобки, склада покрыты зелёной металлочерепицей. Территория огорожена рабицей. И там, за оградой, трудятся люди. Дмитрий узнаёт их: это те, кто был и здесь. Лёшка Щербаков, дядя Юра... А вот отец. Весёлый, сильный. «Здорóво, брат! — улыбается, направляясь навстречу своей, как раньше, походкой слегка вперевальцу. — Давай подключайся — ещё два куба досок срочно надо нарезать».

Когда-то в детстве случалось — от слишком ярких снов перехватывало дыхание, и Дмитрий резко просыпался, будто кем-то ударенный... И вот сейчас так же...

Распахнул глаза и долго не мог понять, где он. Почему так холодно и чем это пахнет — прелью какой-то, пылью.

Постепенно всё вспомнил, осознал, что не комната, в которой он только что просыпался во сне, а щелястая подсобка. И нет ещё заводика, на который поедет, позавтракав, и отец сейчас погасший, сломавшийся... Но ведь есть такое понятие — вещий сон. Может, это как раз такой сон... И Дмитрий стал с удовольствием повторять его сейчас, проживать заново...

Весь день разбирал оборудование, аккуратно укладывал детали, чтобы потом не перепутать, собрать быстро и правильно. Всё прислушивался, не едет ли снова машина с начальством, согласным на его условия. Или гонцы от начальства. А следом ЗИЛы, рабочие... Быстро грузятся, Дмитрий забирает вещички из подсобки, закидывает в «Ниву» картошку, а дальше — всё как во сне.

Но машины не было, давила тишина — даже птицы не щебетали. Исчезли после того, как порубили деревья.

«Ничего, завтра, — успокаивал себя Дмитрий. — Вчера говорили же: послезавтра. День прошёл — значит, завтра. Как раз успею подготовиться».

Вечером до красноты протопил железную печку, понимая, что она через пару часов остынет — ночи уже под минус, — но хоть заснуть в тепле. Лёг, не снимая штанов, бушлата; навалил поверх одеяла тряпья. Уснул быстро, как хорошо поработавший, много сделавший человек.

...Услышал шаги и поначалу не придал значения: скорей всего, Опанька шарашится. И тут — удар в дверь. Запора нет, да и зачем её, хлипкую, ни от кого не способную защитить, запирать? К тому же «Нива» там, за дверью, — её охранять надо в первую очередь, а не себя...

Дмитрий подскочил, выпутываясь из одеяла, курток, ослеплённый острым столбом света. И из этого столба получил удар в скулу. Голова дёрнулась, потянула за собой туловище... Завалился набок... Новый удар, ещё...

Бил явно один, бил молча, лишь сопя и при каждом ударе коротко, сухо хэкая.

«Только подняться, — крутилась волчком мысль, — надо подняться». Силы ещё оставались... Подняться, отбиться. Ещё удар, ещё, ещё... Дмитрий упал на пол и сразу получил в висок ботинком. Свет погас...

Очухался на улице. Лежал на животе возле «Нивы». Вокруг метались тени, блики; где-то, казалось, очень далеко, размеренно вскрикивал Опанька.

— Во, и ружьё у него имеется, — голос над головой, — патронов целый пояс.

— Ага, из него и застрелится!

Смех.

Дмитрия рванули вверх, поставили на ноги.

— Живой пока?

Он увидел незнакомое широкое лицо мужика лет пятидесяти. Мужик зло кривил рот, а глаза были спокойные.

Держа Дмитрия одной рукой за грудки, стянув, завернув одежду у горла, слегка душа ею, другой рукой мужик обшаривал его карманы. Дмитрий не видел, но чувствовал, как он вынимает мобильник, бумажник с паспортом и деньгами, ключи от машины.

— Вы что творите? — хрипнул Дмитрий, глотая воздух и солёные слюни. — Вам зачем это?

— Ничего личного, земля, — мужик на мгновение пересёкся с Дмитрием взглядами. — Нам сказали, мы делаем.

«Кто?» — хотел спросить и понял, что об этом спрашивать нельзя; силы немного вернулись, можно попробовать вырваться, и если не уработать этого, шарящего по карманам, то хоть убежать. Но рядом с мужиком стояли ещё двое или трое. Они перехватят...

— Ничего личного, — повторил мужик. — Ты сам виноват: думать надо было, с кем войну затевать. У людей проблемы из-за тебя...

И, сказав эти несколько явно чужих слов, он будто осознал, что Дмитрий виноват на самом деле, и, не ослабляя хватки левой рукой, правой засадил ему в голову... Сознание опять обвалилось.

Обнаружил себя Дмитрий в тесном ящике. А, багажник... «Ниву» потряхивало, по лбу постукивало что-то деревянное. Черенок чего-то... Пошевелился и застонал от колющей боли в виске, в скуле...

— Погоди, немного осталось, — сказали Дмитрию; это был другой голос, не того мужичары.

— Скоро отмаешься, — добавил третий, молодой, какой-то азартный, — и всем станет полегше.

Разговаривать с ними не надо — бесполезно. По крайней мере, сейчас. Вообще, лучше притворяться беспомощней, чем есть. Пусть расслабятся. И тогда попытаться сбежать.

Толкнул крышку багажника. Заперта. Разбить окно и вывалиться? Нет, быстро не получится... Остаётся ждать и надеяться на удобный момент. Или что они передумают... Снова надеяться...

«Нива», ощутил, нырнула в низину.

— Вот тут само то, — сказал азартный. — Толстый, стоп!

— Дуло залепи!

— Чего?!

— Ты меня ещё по имя-отчеству называй.

— А, ну извини...

«Не убьют», — обдала теплом мысль. И тут же остудила другая: «Играют?»

Машина остановилась. Мужики, тяжело кряхтя, стали вылезать. Открылась крышка багажника, сильные руки схватили Дмитрия и бросили на землю. Рядом звякнула лопата... Дмитрий хотел приподняться и получил два удара ногой. Один попал по руке, другой — в бок.

Там хрустнуло, боль не дала вздохнуть. «Рёбра!» — молча крикнул Дмитрий. Скрючился, свернулся, протяжно, сквозь боль, промычал. — Дёрнешься — горло сломаю, — сказал тот, что бил. — Медленно подыхать будешь, торопить её будешь... Понял, нет?

И — по сравнению с другими — слабенький пинок по ноге выше колена.

Дмитрий хотел сказать: «Понял», — но получился невнятный бормоток. Челюсть не слушалась.

— Чё, копать? — спросил голос азартного.

— Да копать, копать! Утро скоро, пока провозимся... И холодно, сука...

Лопата с хрустом резанула дёрн... Один, копавший, фыркнул и плевался, остальные молчали. Кто-то закурил...

Дмитрий лежал на боку, пытался разглядеть лица, узнать место... Тот, что бил, видимо соскучившись, невольно помог — взял его за шиворот, поставил на колени.

— Ну вот, земля, довоевался. А мог бы жить да жить ещё.

Одеты мужики были не в поселенческие бушлаты, а в гражданские куртки, ватники. Но один показался знакомым — как-то приезжал в деревню на санзачистку. А может, просто похож... Да и как утверждать, что это за люди — поселенцы из колонии, или строители гидры, или вовсе нанятые где-нибудь бичуганы, которые сделают дело и укатят за тридевять земель?..

Находились в какой-то приречной логовине: рядом с местом, где копали яму, поблёскивала в траве вода. Дальше ничего не различить — густая чернота августовской ночи. И, наверное, поэтому не было страшно, точнее, не верилось, что это реальность, что сейчас его, Дмитрия Маслякова, двадцатичетырёхлетнего парня, не станет. И последнее, что он увидит, — беловатые столбики света фонариков, потные мужики и эта плотная, как стена, тьма.

Вспомнилась давнишняя передача по телевизору. Там показывали съёмку расстрела одного человека. Говорят, запись у боевиков нашли... Обыкновенные парни-кавказцы приводят в какой-то то ли пустующий склад, то ли в цех заброшенного завода мужчину в тельняшке. Расспрашивают, обращаясь на «вы», зачем он приехал в их город, шпион или нет, военный... Парни хорошо говорят по-русски, мужчина слегка нервничает, но не рвётся уйти, не повышает голоса. Даже когда парни объявляют, что убьют его... Один достаёт пистолет, приказывает: «Разувайтесь». Мужчина садится, расшнуровывает ботинки, снимает. Встаёт. «Можно покурить?» — спрашивает. Ему отвечают: «Нет». Парень поднимает руку с пистолетом; мужчина стоит и смотрит. На секунду-другую оба замирают. Потом — выстрел. Мужчина в тельняшке падает.

Так просто.

— Ну чё, долго ещё там? — сказал бивший; Дмитрий решил, что именно его назвали Толстым.

— Бля, земля тяжёлая...

Толстый достал из машины ружьё, надломил его, вставил патроны. Взял курки, ткнул стволом в голову Дмитрию.

— Довоевался,— повторил, видимо, понравившееся слово.— Молись теперь.

— Убери,— размыто сказал Дмитрий.— Что делаешь?!..

Грохнуло. И — тугой, режущий уши звон. Сквозь него — крик:

— Я тебя завалю, гадёныш! Завалю и зарюю! Завтра здесь вода будет. Вода всё скроет. И хрен кто найдёт. Ты понял? Понял?!

Тычок стволом в голову. Между затылком и ухом.

«Пугает,— бессильно заклинали внутри.— Пугает».

— Всё, хорош. Уляжется.

Схватили и поволокли. Точнее — понесли, как котёнка, за шкуру... Бросили.

— Как, удобно?

Яма оказалась совсем мелкой и тесной. И снова обдало надеждой: «Не будут...» Ведь всплывёт, если действительно...

— Мужики, кончайте,— проговорил сквозь болевые щелчки в челюсти.— За ерунду... убивать...

— Думать надо было, как ведёшь себя. Раньше думать надо было. А теперь-то что... — и Толстый навёл ружьё.

Дмитрий всерьёз, как о чём-то самом важном, задумался, чем заряжен патрон. Знал, что в поясе есть два патрона с пулями, два — с крупной дробью, штук десять — с мелкой... Можно ли убить мелкой дробью? Если в упор, то — наверное...

— Слушай, земля, а если договоримся? — нарочито неуверенно сказал Толстый.— Можем мы договориться, как считаешь?

— Да не хрен с ним говорить! — встрял азартный.— Заложит ведь, сука! Вальнём...

— Заткнись,— Толстый опустил ружьё и присел на кукорки.— Будем договариваться?

— Будем...

— Угу, хорошо. Значит, первое — ты сам скигаешь эту свою хреновину. Сегодня же. И вопрос закроют, — подождал.— Да? Нет?

Дмитрий хотел сказать, что позавчера приезжало начальство и вопрос с перевозкой почти решён. Попытался, но первые же слова превратились в кашу, и сил объяснять не было. Замолчал, глядя на ботинки Толстого, ожидая удара.

— Ты чё, пьяный? Не пойму...

— Челюсть,— сказал Дмитрий; получилось: «цеюсь».

— Так я не понял: да или нет?

Дмитрий кивнул.

— Так, добро. И второе — насчет звиздюлин. Сам, типа, с крыши упал, ещё откуда...

— На машине перевернулся,— подсказали.

— Нам по хрен причина. Главное, сам. А что поучил маленько, так сам виноват,— Толстый заговорил как старший товарищ, и Дмитрий с изумлением и стыдом почувствовал к нему чуть ли не симпатию.— В натуре, чё ты тянешь на всех-то? Всем хреново делаешь... Давай, короче, замнём это дело.

Он помог Дмитрию подняться, спросил:

— Тебя Димкой зовут? Правильно?

Дмитрий кивнул; хотелось плакать от счастья. Сам себя упрекнул: «Мало ж тебе надо».

— Ну как, договорились, земля?

— Да.

Обратно везли уже не в багажнике, а на заднем сиденье. Парализующее ожидание скорой смерти сменилось физической болью. При каждом вдохе и выдохе резало с правой стороны груди, в виске колело, лицо оплыло, и нижняя челюсть, казалось, рассыпалась там, под кожей. Голова кружилась, тошнило, на глаза давило изнутри...

Но даже не сама физическая боль, а понимание того, что его именно сломали — и физически, и морально,— не давало думать о том, как быть дальше... «В больницу надо,— кричало, требовало.— В больницу скорее надо».

Мужики, их было трое, молчали; тот, что был рядом с Дмитрием, смутно ему знакомый, всё отворачивался. Сидевшие впереди напряжённо смотрели в лобовуху. За окнами колыхался сумрак — на краю неба появилась, растекалась красновато-серая полоса восхода...

Приехали. Вылезли из «Нивы». Толстый открыл багажник.

— Это что в канистре? Бензин?

Дмитрий кивнул, но Толстый не увидел кивка, стал свирепеть:

— А? Не слышу! Ты опять мурыжить решил?

— Бензин.

— Так бери и действуй. Нам ждаться некогда... Давай-давай, шевелись. — Говорил, надо валить,— сказал азартный; он был невысокий, худой, но, кажется, жилистый.— Не будет толку, бля...

Дмитрий достал канистру, понёс к лесопилке.

— Сам поймёшь потом, что это правильно. Точку ставить пора,— внушал Толстый.— Нам-то по хрену вообще-то — ничего личного. Но другие многие парятся — долбят их за эту вашу херню. А она стоит и стоит... Пора уже... Плескай.

Правая рука слушалась плохо... Открыв канистру, кое-как подняв её, Дмитрий неуклюже стал поливать столбы навеса, стену сторожки... Вспомнил про Опаньку.

— А эвек? Зесь эвек бый...

— Чего?

— Человек здесь ещё был,— отчётливей повторил Дмитрий.

— А, он всё... ушёл. Забудь про него... Спички-то есть? Держи тогда.

Надо было сказать про пилы, про вещи в подсобке, про пять кулей картошки, про то, что сегодня, прямо сегодня, скорее всего, из города приедут машины. Но Дмитрий не мог — больно было говорить, да и бессмысленно. Их не убедишь.

Голова кружилась, земля под ногами плыла и словно обрывалась... Сделать вид, что сознание потерял? Может, это спасёт, а может, испугаются и бросят в огонь.

— Мы машину возьмём. Потом найдёшь... Травмы сам получил. Так? — говорил Толстый. — Паспорт и телефон вернём сейчас... Мы не бандюганы какие... Надо так — поучили. Чиркай давай — и разбежимся.

Спичка зажглась легко. Дмитрий подержал её меж пальцев, глядя на это слабое оранжево-синее красивое пёрышко, а потом бросил на стену.

Бензин ухнул, пламя разбежалось по доскам.

Владимир Нестеренко

Озарение

Толик Завгороднев, поджарый, с аккуратными рыжими усиками на широком лице, в серой кепке с длинным козырьком, в полукомбинезоне с лямками на плечах, шёл из Новосибирска на своём поношенном КАМАЗе, и весь день его грызло нехорошее предчувствие. Весна на него действовала бодряще. Световой день прибавлялся, спалось в рейсах меньше, они укорачивались по времени, и в целом за неделю выкраивалась лишняя ходка, укрепляя семейный бюджет. Вчера шёл вот так же, высчитывал, сколько отыграл часов, и настроение — солнечное. Сегодня ничего не изменилось: ать-два, как оловянный солдатик по асфальту всеми десятью скатами,— а отчего внутри так сосёт? Душа не на месте. И в кабине как-то стало неуютно: раздражает провалившееся сидение? Так и вчера оно такое же было, но не раздражало, а сегодня то и дело ёрзает, не сидится, как всегда, по-чугунному. Будто гвоздей кто-то сыпанул под чехол втихаря, когда дремал на биваке.

Нет, неспроста всё это! Что может случиться? Магнитные бури на солнце, неблагоприятный день так действуют на психику? Груз обычный, строительно-отделочный, не портящийся, за него беспокоиться нечего. А поспешать надо: время — деньги, лишняя ходка — дополнительная сумма в копилку для покупки квартиры. Жить негде, а у него уже двое ребятишек. Хорошо, не влип в пайщики, как его дружок. Ни денег, ни квартиры, ни застройщиков. Толика спасли его природная осторожность и недоверчивость ко всем лёгким наживам. Он никогда не верил всевозможным пирамидам, владельцы которых обещали сногшибательный прирост вклада, потому что всегда всё зарабатывал своим горбом и знает, что копейка просто так в карман не закатится, скорее — выкатится, как у невезучего друга.

Аварию на дороге Толик допускал: на трассе каких только лихачей не встретишь — и пьяных, и подколотых, и просто сосунков, дорвавшихся до подарочной баранки от состоятельного папочки, и просто крутых, не уважающих товарищей по движению. Тут всё может быть: подрежет при обгоне, зацепит, а то и в лоб засветит на такой-то скорости. Но и это не та дума. Обходилось добром пока у Толика на трассах. Чутьё на аварийную ситуацию у него — как у зверя на добычу. Упреждает несчастье.

В первые годы своей бесконечной шофёрской дороги Толик считал себя везунчиком во всех отношениях. Работа по душе, жена милая,

семья, и сам выглядел этаким ухоженным, сытым битюгом и смачным, как мамины пирожки с ливером только что со сковородки. Но чем дальше в дебри капиталистического рвачества, а точнее не скажешь (каждый, даже самый захудалый, частник на машине рвёт жилы, сколачивая себе капиталчик для развития), тем туже идёт дело, меж конкурентов не пропихнёшься, как вал без смазки клинит. Пока машина новая была — шло без особой натуги, а теперь сыпаться стал его друг, на золотой солярке ездит — штаны прогорают. И семья у него, как каша от лишней крупы в малой посудине, через края плывёт. Гостинка чёртова четверых не вмещает, а жена снова потяжелела. Генашика, отрока, в этой тесноте не удержишь, как чуть — бежит на улицу. Там свобода. Отец в рейсах день и ночь, Тоня, жена, тоже не сидит — работает. Попробуй удержи пацана в клетке. Последнее время приспособились давать ему деньги на компьютерные игры, пропадает парнишка там, спокойнее. В террористов играют. Не нравится эта мера Толику, да куда денешься, всё ж в стенах, среди таких же оглушённых, а не на улице. С улицы ведь умыкнули сразу нескольких пацанов, весь город на ушах стоял. Вся страна знает эту жуткую историю. А одиночек сколько исчезает!

Вот оно, тяжкое бремя неизвестности, сосёт душу и сердце, не даёт покоя! Каждый раз, возвращаясь с рейса, первый вопрос: «Где Генашик?» Дома Генашик, жив, здоров. С Анютой пока беспокойства меньше: в детском саду днями. Но сегодня так давит на нервы неизвестность, что Толик, не разгружаясь, завернул сначала домой, хотя крюк сделал по городу, отыскал Генашика в компьютерном зале, посадил его в кабину и полетел разгружаться. Отлегло от сердца: всё в порядке с семьёй. Не погнал машину в гараж, во дворе притулил, чтобы отоспаться, а завтра чуть свет — за таким же грузом.

Пришёл домой, а душа всё так же не на своём месте. Что за чертовщина? Жена — кровь с молоком — с объятиями, с поцелуйчиками, как всегда, не отводит глаз, совесть чиста перед мужем, за стол его, голодного. С маманей что случилось в деревне? На здоровье не жаловалась, обещался на выходные приехать, чтоб быка под нож, а мясо продать. Просила его уж давненько, говорит, объедает он её, сена на корову и телочку до новой травы не хватит, да и деньжата нужны, пообносились, а на пенсию много ли купишь? Верке, сестрёнке замужней, помочь не терпится, мужик у неё непутёвый, глотка не та. Да и ему, Толику, с быка что-то обломится в копилку на квартиру.

Маманя у него труженица. Всю жизнь в совхозе, и он тоже начинал там же, сразу после армии за баранку сел. За два года перед развалом хозяйства этот КАМАЗ новенький получил. Если откровенно, не чаял такого счастья. Претенденты были. Один из них на радостях, когда посулили машину, пошёл обмывать к другу, и так нарезались самопальной водки, что едва оба концы не отдали, в больнице с ними отваживались. Зарубили кандидатуру. Второй претендент на Толика

на следующий вечер покусился. Если бы не маманин острый слух да не калитка скрипучая, всё бы вышло, как претендент задумал. Толик эту калитку потом много раз вспоминал, тот спасительный скрип, который насторожил маманю и не дал совершить злодейство. Толик, когда приходил домой, всегда калитку слегка приподнимал, и она не скрипела, маманя так же обходилась. Не раз ворчала на то, чтобы сын смазал шарниры. Он мазал, но солидол не держался на этой трубной конструкции, на жаре расплывался, и поверхность по-прежнему оставалась несмазанной и скоро начинала скрипеть. Надо было снимать калитку, на дно шаровой опоры поместить крупный шарик от подшипника, солидольчику туда, и калитка, без скрипа и усилия, от лёгкого ветерка откроется. Но Толику всё недосуг, всё в бегах, всё в делах.

Так вот, управляться по хозяйству припозднился. Осень, темнотища на улице, но в стайке освещение надёжное, да и двор от фонаря, что на столбе, не споткнёшься, а тут погас. Перегорела лампа, видать, ветра осенние хлёсткие, било-колотило фонарь, вот и вышел из строя. Маманя от стайки с полным подойником только-только в веранду вошла. Ей в стайке больше делать нечего, сын всё доделает как надо. Вот и услышала она скрип калитки. Что её дернуло выключить свет на веранде, потом сама не могла объяснить, а выключила, как шёпот ангела услышала — шаги, и весть утреннюю вспомнила: синица желтобрюхая в окно билась, не понравилось это ей утром, а сейчас с нехорошим смыслом отозвалось. А шаги по гравию, и снова скрип калитки, протяжный, осторожный, воровской. Двое кто-то. Никого не ждала. Толик тоже ничего ни о ком не говорил. Насторожилась мать, прильнула к окну, присела. Видит, двое идут, и пёс на них не лает, знакомые. Но кто такие? Что надо? И почему украдкой? Собралась было свет на веранде включить, да смотрит — мужики, крадучись, к стайке. Мать за ними и лопату на всякий случай подхватила, совковую. Смотрит, у первого в руках кусок сети, а на отсвете лампочки из стайки хорошо видно, как он её расправлял.

С какой целью? На Толика идут, со спины вроде нашенские. Митюковы братья! Только темень не даёт точно признать. На головах шапочки как-то необычно топорщатся. Что удумали, злодеи? Зачем сеть в руках, клочок сети, точнее? Не слышали, как мать за ними ни жива ни мертва ступает, и когда первый ворвался в стайку и там вскрикнул Толик, она второго лопатой тут же достала. Хорошо пришлась совковая лопата, как для бабской рукопашной создана: смачно легла на хребтину ссутулившегося человека да и до затылка достала. Рухнул молодец, добавила мать ещё по спиняке и — в стайку, на шум борьбы. А там Толика Митюков старший сетью этой опутывает. Ах ты, изверг! А она, чертовка, сеть, висит на сыне и не даёт отбиваться, ещё секунда — и повержен был бы Толик, но мать львицей всё с той же лопатой да с рёвом, от которого налётчик обернулся, подставил руку

под обрушившийся удар, а второй рукой вырвал лопату из рук — да дёру. Сам-то ушёл, а его брательничек не смог. Толик его повязал. Допрос учинил. Молчит. Стал обыскивать — бутылку спирта-технаря нашёл и шприц на сто миллилитров, ветеринарный, в кармане маска, такая же, как на морде у старшего была.

Стоит ли говорить, насколько добродушен и красноречив был Толик в те минуты? Стоит ли говорить, как приятен сибирский мороз под минус пятьдесят с хиузком? Стоит ли говорить, насколько благородна жена, заставшая мужа с любовницей? Стоит ли говорить о благодарности правительству, погубившему трудовые сбережения народа?..

«Или ты скажешь, что вы хотели со мной сделать, или я тебя сначала отделаю, как Бог черепаху, а потом вызову милицию», — сказал Толик и для убедительности приложил кулак к загорбку налёгчика. Тот понял, что дело табак, на Тольке лица нет от бешенства, сознался: «Бес попутал, хотели тебя связать и накачать спиртом через вену».

Всё ясно. Ловкий способ конкурента с катушек свалить. Толик задержанного отпускать не стал, собрался звонить родному дяде, спросить совета, а тут отец Митюковых прибежал, упал на колени, лоб расшибает, просит молчать, не позорить его седую голову, и деньги все, сколько есть, принёс.

Мать денег не взяла, но поставила условие: «Если узнаю, что на сына моего снова покуситесь, опозорю на всё село».

На том и договорились. Долго не спали в тот вечер Завгородневы: страх не проходил, не укладывалась тревога за будущее, виделось оно клыкастым хищником, нет на него ни ножа, ни ружья, голые руки. Мать в который уж раз рассказывала сыну, как она услышала скрип калитки, как подумала: кто-то чужой с чёрной душой, ведь и твоя Тонечка без скрипа открывает калитку. Толик молчал, а потом сказал: «Вот видишь, мама, гуси Рим спасли, а меня скрип калитки. Пусть так и дальше скрипит».

И так смешно им стало, так легко, что насмеялись они до слёз, а когда пришла с дежурства с узла связи Тоня, ей уж тоже пришлось рассказать о происшествии, хотя поначалу условились молчать.

С тех пор часто тот скрип калитки слышится, предостерегающий, вестий. Когда акционировали хозяйство, Толик земельный пай брать не стал, прикинул: что из двадцати гектаров без техники сможет выжать? Только собственный пот, а у него уже семья разрослась, квартира, правда, совхозная. Завгородневы — люди местные, надёжные, потому и квартиру дали, как только женился. На кладбище родни целая улица, да и в селе каждый десятый с завгородневскими корнями, судеб, если описать, наберётся на «Войну и мир»...

Только не тянули те двадцать га против машины. Мамазя свой пай отдала в счёт сына, батька бы, пожалуй, тоже, только лежал он уж в сырой земле. Надорвал горбину на пахоте да на уборке хлебов. Шибко-то тоже не нахвалишься былой жизнью. Но спокойнее как-то

было. Дом, семья, работа, маловатый, но стабильный заработок. Помогали всякие подачки, вроде детсада бесплатного для Генашика, отопление жилья совхоз брал на себя. На премиальные по итогам года Толик себя и жену одевал. Техника вся в руках у мужиков была, и зерном отоваривались, и сеном. Сами почти не косили — всё с совхозного стога. Подъедет, бывало, на машине к сеноуборочному комплексу, бумажку от директора покажет, плюх ему несколько рулонов в кузов — и пошёл домой. Толик всюду был безотказный, молодой, и первая машина, «зиллок», ходила исправно, чего ж не поработать, чего ж не полетать по дорогам для семьи, для дома. Прикрыли лавочку демократы. . .

В год развала акционерного общества Толик новую машину в гараж не ставил, только дома. Оформлял на неё бумаги вместо земельных паёв. Дело с трудом, но двигалось. Появились какие-то новые люди, якобы выкупившие долги и прибравшие всю технику к своим рукам. Толик, не будь дурак, пустил слух, что стуканул у него движок, коленвал запорол. Раскидал двигатель, задний мост тоже, на чурки поставил, чтоб тросом не уволокли. С потерями, но битву за свой КАМАЗ выиграл, и как выхлопотал документы на него — переехал в город. И вот уже, считай, десять лет здесь по квартирам мотается. Дом в деревне продал, да что толку — словно соболя в линьку взял: инфляция давно съела эти деньги. Не хватило тогда третьей части, чтобы купить двухкомнатную квартиру. Толик по родственникам бросился, а тут дефолт гарью сыпанул. Никто не помог, сами у разбитого корыта оказались. Маманя только старалась для детей. Был бы жив батька, может, всё по-другому складывалось бы. Может, какие кирпичи для будущего навалял, обжёт. Но жилы батька надорвал, ушёл раньше времени, царствие ему небесное.

Заунывная, нескладная песня получается, жизнь, словно серебро ковыля на солнце, — обманка. Худая трава не годится на корм, только на щётки для побелки. Да разве чёрную дыру жизни забелишь ковыльной кистью? Тащишься с болью в душе от неудач, как заковыленная тощая овца. Того и гляди, упадёшь. А сойдёшь в кювет — за спасибо никто не вытащит.

Толик принял душ после рейса, с семьёй плотно поужинал, с Генашиком повозился, Анютку на руках покидал, на закуорки усадил, полетал в комнате по проходам, хохотушку вдоволь наслушался, потом понёс спать укладывать, да и самому пора в постель, накануне ночь почти не спал. Какой сон в рейсе? На диван с жинкой, а сон не идёт, сжимается душа, что-то мешает ей распрямиться даже после жениных ласк. Неужели сердце стало болеть, грудная жаба давит, то есть стенокардия? Но и боли вроде явной не чувствует, а тревога волной о грудь бьётся, как морской прибой, без умолку, уснуть не даёт.

Толик четвёртый десяток разменял и возраста, само собой, не чувствовал. Мужик в самой силе воловьей. Ему и Богом предписано быть

сейчас волом, тянуть семейную лямку изо всех жил, обеспечивать всем необходимым. Он разве против? Более того, азартен в работе, как завязанный картёжник. Ищет и находит выгодные рейсы. С тремя конторами тесную связь держит. Крутится, а вот на квартиру всё никак не может заработать. Расходы голодной волчицей заработок съедают. С новой-то машиной, думал, развернётся в городе — не развернулся. Прозябает, как большинство работяг.

Генашик с Анютой уже давно спят, а ему не спится, как над пропастью завис, выглядывая местечко, если свалится, чтоб не до смерти расшибиться. Пропать непроглядная, как космос безвестный: где какие миры, где какой гвоздь, на котором шину пропорешь?

— Устал ты, Толя, от бесконечных дорог. От погоны за заработком, — зашептала над ухом жена.

Не о «звёздах» с телеэкрана, не о шоу-проектах шепчет — о житейском, о своём, близком, и нежной рукой на широком сероглазом лице разглаживает появившиеся морщинки.

— Откажись завтра от рейса, помоги матери с быком управиться. Она же ждёт тебя не дожждётся.

— В субботу поеду. Отказаться от ходки — потерять клиента. Не могу. Я — фирма надёжности, — грустно улыбнулся жене. — Коль сна пока нет, включу-ка телевизор, давно не баловал себя зрелищами.

— Толя, какие зрелища? Петросян с переодетыми мужиками? Они уж в печёнках сидят. Не манит меня смеяться в конуре, где повернуться негде.

— Я бы фильм хороший посмотрел, о любви, о жизни.

— Поищи, может, найдёшь. Только вряд ли, всюду наши сериалы, смотреть невозможно: кровь, слёзы, взрывы, катастрофы, потопаы, пистолетами в морду чуть ли не в каждом кадре суют, воровство, разбой...

Толик всё-таки в надежде найти что-то для успокоения души прыгал с канала на канал. Точно, всё так, как жена сказала: кровь, слёзы, пытки, взятки. Плюнул. Выключил телек. К жене под одеяло — последнее средство успокоиться и заснуть мертвецким сном...

Не всякая сталь поддаётся закалке, не всякий человек стоек перед невзгодами. Жизненную накипь Анна Завгороднева чистила, как посуду, бесконечными трудами, и не затуманился на склоне лет блеск её ярких глаз, только глубже проникал взгляд в будущее, и не виделось пока там ничего лёгкого, как и не было в прошлом. Только на руки свои, на ноги да на стантовую хребтину свою надежда, хотя сноровка уже не та, а всё же делает своё дело, хоть и медленнее, с паузами, но верно и точно. Вот и в это утро, как всегда, управилась хватко: напоила свой скот, подоила корову, задала сена быку. Осталась кроха его: дотянет ли до приезда сына? Присела на минутку на лавку, перемогла боль в суставах и погнала корову с тёлкой в поле. Хоть и не ахти какая трава пошла, нынче весна застоялась на югах,

севера господствуют. Бузует ветрище сутками леденистый, острый, как шило. Настроение упадочное и без него, а с ним ещё тошнее. В народе говорят: марток, не скидай порток. В марте ладно, снега кругом лежат, но и в апреле не скидали тёплых курток, сапог резиновых по слякоти. Ноги в них не дышат, мякиной преют, скорее бы сбросить, что полегче на больные ходули надеть. Май подошёл, и он не порадовал. Тучи да ветер проклятуший, сроду такого не было. А на ветер-то как косточки ноют, как суставы вертит буравчиком! Не рад ничему, ни корове, ни быку, что на мясо пойдёт, принесёт прибыток. Но не привыкла Анна сидмя сидеть, ей заботы подавай, по хозяйству юлой крутиться. Тяжелей стало скот держать. Всё с копейки, сено скосить — найми, сгрести, сметать — найми; вывезти, правда, сын управляется, но с каким трудом из города вырывается, а уж про подкормку дроблёнкой и помалкивает. Курам только зёрнышко.

Вернулась с улицы, где перекинулась с соседками желчными словами о погоде:

— Погода стала — что власть наша, ни солнца от неё, ни тепла, инфляция одна, как этот ветер проклятуший, всё из души выдувает.

— Не говори, кума. Откуда ж добру взяться, коль нефть чёрная нашей власти глаза застила? Ничего она через неё не видит, ни беды наши, ни нужды. Самим только и пособляться, — кума махнула хворостинкой, какой корову погоняет, и разошлись товарки по дворам.

Анна и пособляется. Уж на пенсию вышла, а от скота не отказывается. Грузнеть стала, а если сядет у телевизора днями, как на дрожжах пойдёт полнота. Нет, она не хочет в широких штанах да куртке полноту скрывать, по-прежнему крутится, сжигает жир работой и юбки с кофточками любит яркие. И подкрашивается, брови дугами так и держат былую красу.

Только вошла в калитку Анна, а навстречу человек-кавказец.

— Слышал, что вы быка на мясо собираетесь сдавать? — упредил незнакомец вспыхнувшее в глазах Анны беспокойство.

— А тебе какое дело, человек?

— Я мясо скупаю по высокой цене.

— Это ж по какой высокой? — не поверила Анна.

— Даю за килограмм больше, чем обычно, и шкуру заодно беру по таксе.

— Если так, меня бы устроило, только бык у меня в загоне, сына жду, чтоб забил.

— Когда ж твой сын явится, а мне сейчас нужно, сегодня. У меня свои забойщики есть, и весы в машине.

— Коль ты так востёр, будь по-твоему, — брови Анны взлетели в удивлении, как два крыла ласточки. — Только осердие себе оставлю и голову.

— Хорошо, договорились. Бык у тебя справный, на четверть тонны потянет.

— Да уж, глаз-алмаз. Я породистых держу.

Правду говорят: дело мастера боится, лень казну не обогатит, но сноровка пополнит. Не успела Анна воды вскипятить, а быка уж свежуют. В шесть рук мужики его через полтора часа уже на весы. Анна весы лично осмотрела. Контрольной гирей проверила. Точно показывают. И зорко уставилась, как бы чего с весами не сделал этот кавказец. Не доверяла она им. Хитрющий народ. С родных мест простодырый не стронется. Был случай, одних едва ли на полвеса не обмишурили. Только у сельского мужика тоже глаз-алмаз, он едва ли не до килограмма скажет, сколько туша потянет.

В общем, довольнѐхонькая осталась Анна, тот же ветерок дунул теплом, засинели поблѐкшие уставшие глаза, улыбка тронула сухие строгие губы. Всё вышло как договаривались. Одно не совсем устроивало: если бы сын забивал, кусок добрый бы на гостинец внукам увѐз. Да что ж тут поделаешь, сена на два навильника осталось, а тут оказия подвернулась. Осердием оделит сына, на пирожки ливер да на холодец ноги, а с головы она сама сольтисон сделает, половину внукам отправит. Вкуснота!

К обеду Анна управилась со всеми делами. Сбросила с себя пропахшую скотом одежду, в свежее переоделась, кофточку любимую надела, жаркое на обед из печени сготовила. Денежки, пятисотки новенькие, в укромное местечко спрятала, половину детям отдаст, и за стол уселась в добром настроении. День будний, люди делами заняты, дочку бы позвать, по рюмке пропустить за успех. Только она в школе с детворой пластается, а муж её непутѐвый баклуши бѐт, сулился быка Толику помочь освежевать, если на сев к частнику не подвяжется. Механизатор-то он хваткий, вот глотку бы ему другую, неприѐмистую, впать...

Только поставила сковороду с дымящимся жарким на стол, как стук на веранде, шаги, и вот кто-то в двери входит. Глянула в пол-оборота в прихожку: батюшки! Трое в масках. Чулки чѐрные на мордах. И — к ней!

— Тихо, бабка, тихо, не то кишки выпустим. Нам твоя смерть не нужна, живи, скот выращивай, нам твои тысячи за быка подавай!

Давит, ирод, руку Анны, за спину заломленную, а у самого ноги трясутся, и нож, в бок упѐртый, так и ходит ходуном в нетвѐрдой руке. И знакомое в голосе. Кто ж такой? Наркоман проклятый, Зуднев, с дружками. Покою от них нет. Те двое больше пьяницы горькие, постарше Зуднева, а этот недавний школьник. Слышала, что одно время даже зельем этим торговал, вся деревня знает, а вот не берѐт его милиция, окаянного. Не схвачен, говорят, за руку. Так изловчитесь, милкí, схватите. Зарплату с нас, налогоплательщиков, получаете. Защитите как следует от разбоя.

— Так что́, бабуська, добровольно отдашь или желаешь, чтоб мы кровь тебе пустили маленько?

Анна не считала себя ещё бабусей, хотя давно уже бабушка. Крепкие руки у неё и ноги, хотя и больны, и спать ночами не дают. Скорее, дух крепче, чем ноги с руками, да привычка трудиться, от труда и его плодов удовольствие получать, неистощимое сокровище черпать. С каким наслаждением пересчитывала новенькие бычьи пятисотки, двухгодичный результат! Вот когда дух надломится, тогда в бабуси и списывайте. — Рано ты меня в бабуси записал, я ещё тебя, сукиного сына, в бараний рог скручу!

Она саданула под дых Зудневу правым локтем, левая-то завёрнута за спину, тот, доходяга, и осёкся, зашлёпал губами, хватая воздух, скрючился. Руку-то и выпустил левую. Тут бы Анне сковородку со стола схватить да в рожу горячим залепить второму, что сзади Зуднева стоял в ассистентах. Да что-то промедлила секунду, жаркое свеженькое с лучком, укропчиком сдобренное, поесть собралась, почти два года ждала минуту эту, а не придётся, собаке только потом с пола-то. Этой упущенной секунды и не хватило для атаки Анне. Она рукой за ручку — и ассистент тоже. Жилистая да трудами накаченная рука Анны крепкая, не то что у мужика-пропойцы. Вроде и укротил он рывком силу женщины, а покорить не хватило духу, тут же он из него выскочил, как воздух из пузыря проколотого. Ещё одно усилие, и сбережённая, как в конденсаторе, энергия Анны от трудов, на многие часы хватающая, враз осилила мужицкую, отшвырнула козявку — и сковородой по башке. Запекла подливка за шиворотом, завертелся налётчик. Да поделом! Но те утраченные секунды стали всё-таки роковыми. Третий лиходей, погрузнее первых двух, подоспел, сзади навалился тушей дряблой на Анну, не хватило ей секундочки той откаться в сторонку да хватить и этого сковородкой, в руке зажатой, не устояла на ногах борющаяся героиня, повалилась, забарахталась на полу. Тут и первые очухались, засопели, в руки, в ноги вцепились клещами. Бечёвкой приготовленной белы рученьки за спину стянули, усадили на стул — и в лицо, и в лицо кулаками. В лицо с сединами, да морщинами испаханное, но ещё ядрёное, открытое, без лукавин в глазах, полных жизни, а сейчас гнева.

Да что ж с тобой, Анна, творится? Почему на твоей земле, на твоей усадьбе, в твоём доме на кухне супостат объявился? Кто пропустил его через границы, кто дал шагать ему по долам и весям? Как смог подойти он незримой армией к твоим воротам и полонить тебя, надругаться и ограбить? Не Анне бы задавать такие вопросы, а ей спросить надобно у кого следует. Да далёк тот ответчик, и способен ли ответить на такие трудности, способен ли защитить её, труженицу? — Ты что, старуха, против трёх мужиков решила бой вести? — взвизгнул наркоман Зуднев, а сам — нож к шее, рука дрожит, того и гляди, полосонёт по сонной артерии, перехватит жилы. — Ты не дури, хозяйка, скажи, где деньги спрятала, и мы отвалим, — захрипел грузный — старший, видать.

Ему мешал дышать плотный чулок, он сорвал его с башки, повернулся спиной к Анне, но она всё равно узнала в нём пропойцу-татарина. Брат у него — человек порядочный, в соседнем селе живёт, а этот — как бельмо в глазу людям.

— Денег моих захотели?! А не выкусить ли вам фигу? Не для того я день и ночь со скотом пласталась на больных ногах, чтоб вы пили да наркоту кололи на них, а за побои, за синяки мои, глаз вон совсем заплыл, сын вам головы пооткручивает!

— Сын твой далеко, а мы тут: кто вперёд может голову открутить? Давай, грёбанный, — заорал грузный Зудневу, — пошарься в шмотках, бабы любят деньги в шмотках прятать.

Зуднев бросил нож на стол, кинулся к стенке, что стояла в зале, и, считай, безошибочно через минуту в антресоли под наволочками нашёл всю сумму.

— Вот они, денежки! — затрясся от радости наркоманище.

Двое бросились к ироду.

— Сколько здесь? Дели на троих! — заверещал незнакомый Анне мужик, которому она сковородкой башку ожгла.

— Не стоит, мужики, здесь задерживаться, — сказал грузный, — дома поделим.

— Нет, давай на месте, чтоб мои в моём кармане меня грели, — нервно взвизгнул Зуднев.

Алчность никогда не попадала в число добродетели, она удесятерила зависть, жестокость, но вместе с тем и трусость, боязнь потери отбранного богатства. И когда грабители услышали топот ног связанной Анны, которая под вспыхнувший спор решила выскочить из дома на улицу и броситься к соседям, к людям, страшно перетрусил и стайей бросились за ней. Она, труженица, не могла смириться с потерей этого неполного вознаграждения за свой труд, за долгое хождение по скотному двору во время кормёжек и поения животных, уборки навоза, заготовки корма, этого повседневного и неотложного дела, более неотложного, нежели собственное насыщение пищей во время завтраков, обедов и ужинов, которые нередко бывали пропущены, и это почти не отражалось на её духе, на комплекции. Частью она сознавала: вредил здоровью сбой режима питания, но махала на это рукой, поскольку понимала, что идеального всё равно никогда ничего не будет, а вот с кормёжкой скота не могла нарушить заведённый годами распорядок и следовала ему неукоснительно: и в дождь, и в зной, и в холод, и в собственное недужье, заменяя себя в былые времена мужем, потом сыном или дочерью, — но скот всегда получал в свои часы то, что ему положено, как и дети, которых она родила, вынянчила на своих руках и теперь валохаёт ради них, уделить одному и другому копейку, поддержать, облегчить житьё-бытьё. Она не признавала причин нарушения распорядка, говоря: скот нашу

безалаберщину не понимает и принимать не желает. Умри, но скот накорми, напои. Не можешь — откажись от него. Теперь она видела: в деревне слабые духом отказались от скота. Много таких. В магазинах, слава Богу, все продукты есть, были бы деньги. Денег у многих мало, они довольствуются мизерными пенсиями, случайными заработками, но от вечной кормилицы, коровы, наотрез отказались и, похоже, не собираются вновь заводить. А земли пустой скрозь полно, сенокосов, пашни — бери не хочу. Когда-то за эти уголья проливали кровь, за неверно проложенную межу сходились на ножах. Пусть не здесь, не в Сибири, но было такое в России, дед рассказывал. Теперь земля с угожьями потеряла ценность. Жизнь, понятно, меняется, у молодёжи мысли другие: как бы полегче найти работу да поденжнее. Где она такая на селе? Уходят в город, там находят по Сеньке и шапку. Толик, сын, тоже нашёл. Мотается день и ночь на грузовике, зарабатывает на квартиру, квадратный метр которой стал обходиться многозначной неподъёмной цифрой, и квартира эта, челноком в океане, всё уплывает и уплывает в заоблачную даль.

Анна могла бы притаиться в кухне, сидеть мышкой, пусть бандиты уметаются, а она следом, к людям, знает же, кто такие. Да вот не сообразила сгоряча. А то и побоялась: растащат эти крысы денежки по норам, пойдя собери их, пока она с погоней споборится. Вот и не выдержала, сорвалась, вроде на цыпочках пошла, но стулбрякнул, когда поднималась, половица скрипнула в прихожке, и её настигли уже на веранде, заволокли назад в дом за ноги, брыкающуюся, сильную, как лошадь, которой прострелили шею и тащат на живодёрную волоком, захлестнув петлёй задние ноги.

Теперь она видела все их морды, запыхавшиеся, грязные, заросшие щетиной, без удушливых чулков-масок. Анна хиляку Зудневу саданула ногой в рожу, тот отлетел на метр, взвыл.

И тут она допустила окончательную ошибку, крикнув:

— Не тронь меня, Зуднев, беги из моего дома, пока Толик мой из тебя душу не вышиб.

— Ах ты, старая карга, узнала меня, угрожать вздумала! — злым голосом, не предвещавшим ничего доброго, прошипел Зуднев. — Татарина, поди, тоже признала?

— Говори: знаешь меня? — подступился к поверженной женщине разбойник.

— Это теперь не важно, — сказал грузный, — достаточно, что этого придурка знает. Заткни ей рот навсегда, Зуд...

Вечером, против обыкновения побродить по улице, пощипать траву, Зорька Анны с тёлочкой пришла к воротам дома сразу же, как пастух пригнал стадо в село. Корова стояла у закрытой калитки, жалобно и протяжно мычала. Соседка, кума Валентина, уже после своей управки увидела, что Зорька стоит и мычит...

—Что это Анна сегодня корову на улице держит? Прихворала? Не похоже на неё,— сказала Валентина мужу, который помогал управлять ей по хозяйству.

— Она же сёдня быка перекупщикам сдала. К дочке, видать, пошла, обмывают куш.

—То ты не знаешь, как Захаровна своего зятя ненавидит за пьянку, станет она с ним распивать,— не согласилась жена.— Корова-то уж охрипла. Управлюсь — сбегаю, погляжу.

—Я слышал, тот скупщик, чтоб конкурентов сбить, на пятёрку даёт больше таксы,— рассуждал философски муж, прикидывая и свою будущую выгоду.

— Он эту пятёрку на рынке с покупателей отыграет.

Валентина, по-мужски одетая в лампасистые штаны, сухопарая, подвижная, натруженными за день руками уже в сумерках впустила в калитку корову с тёлкой, с тревогой на душе открыла веранду, а корова в спину ей мордой тычет. У Валентины озноб по коже, дёрнула двери квартиры, несмело позвала:

— Анна, ты дома? Захворала?

Не дождавшись ответа, всмотрелась. В конце узкой прихожки, наполовину втянутая в комнату, но головой к ней, лежала Захаровна. Валентина вздрогнула от испуга и нехорошего предчувствия, щёлкнула выключателем.

— Анна, что с тобой? — и вскрикнула: из-под лежащей на спине Анны расплылась и уже почернела лужа крови.

Валентина замерла от жуткой картины: запрокинутая голова Анны смотрела открытыми остекленевшими глазами на неё, волосы растрёпаны, цветастая кофточка на груди окрашена кровью и уже заскорузла. Руки, видать, связаны за спиной.

— Убили! — взвизгнула соседка, вмиг поняв всю трагедию.— Средь бела дня убили. На бычьи деньги позарились! — и, твердя эти рождённые в страхе и жути фразы, она бросилась к себе домой через штакетник.

— Валя, что с тобой? Кого убили? — выскочил из дома приземистый, но длиннорукий Виктор, подхватывая едва не падающую в беге жену.

— Анну убили, за бычьи деньги, средь бела дня! Ой, тошно мне! Ой, страшно мне!

— Ты не ошиблась? Пойдём посмотрим.

— Нет, не ошиблась. Лужа кровушки из-под неё натекла, глаза остекленевшие. Звони в милицию, а туда — ни ногой. За деньги бычьи, за такие деньги любого подозревать станут.

— Сколько же она взяла? — осмыслив дело, с испугом спросил Виктор.

— Хорошо взяла, сам говорил, бык на четверть тонны потянет: считай, все тридцать тысяч рублей.

— Да, угораздило же тебя первой на неё наткнуться.

— Мне-то чего бояться? Убили днём, а я сейчас пошла. Любая бы соседка могла сунуться, корова-то изревелась. Верке звони, пусть бежит, она на улице Весны живёт.

Толик уснул тяжёлым, тревожным сном, как каторжанин после каменоломни у тёплой печки. Каторжнику главное — телу дать отдых, чтоб завтрашний день выстоять, о душе у него забот нет — давно чёрту заложена. Завгородневу тоже тело освежить перед дальней дорогой, а вместе с ним и душе отдых, при нём она, ещё не запятнанная, но словно силками схваченная, сдавленная, мечется в спящем беспокойно. Может, оттого испугался голоса жены в ночи: будила она его. Можно сказать, впервые. По шофёрской привычке, он всегда вставал первым, а тут — жена. Спросонья он ничего не понял, только испугался дрожащего голоса и мертвенной бледности.

— Ты чего, Тоня? — и потянулся к подаваемому сотику. — Алло, Вера, что случилось?

— Маму убили!!!

Толика словно выбросили с постели.

— Кто??? Нашли?

— Нет. Убили и ограбили.

— Что там грабить? Деньги за быка взяли? Я еду, я растопчу эту нечисть КАМАЗом, я найду кого!

Вот во что вылилось предчувствие, плешь проевшее. Всё схватилось пожаром вокруг Толика, жгучий чад дышать не даёт, и масло, масло кипящее по груди разливается. Маму убили-и-и! Выскочил на улицу к машине, как специально оставил возле дома. Вместо денежного рейса помчался к убитой маме, кляня себя, свою занятость и быка, за которого убили, точнее — за вырученные с быка деньги. Соберись он раньше, в те выходные, была бы маманя живая, и деньги бы на книжке лежали. Ах ты, ах ты, жжёт огнём отчаяние, нуждой повязанное, как терновые венки на теле Христа!

Решиться напасть средь бела дня могли только отморозки, у которых мозги проколоты наркотой или проспиртованы и ничего не соображают, только и думают о том, где бы украсть на дозу или на бутылку технаря. Таких в деревне с десяток. Он знает почти всех. Менты тем более, уж должны повязать шакалов, а Верка говорит — нет. Но он повяжет, он найдёт, он даже знает кто. Не один конечно, группой пришли. Один с матерью не справится. Она что добрый мужик, всю жизнь в работе, руки крепкие, зашибёт этого слизняка, если, конечно, не удар из-за угла. Но удар, по словам Веры, нанесён в квартире, и руки связаны. Избивали, допытывались, где деньги лежат.

Толик беспрестанно вспоминал вчерашнее давящее чувство, вечернюю бессонницу, шастанье по телеканалам, где в сериалах и боевиках кровь, слёзы, грабежи, разбой, от которых он морщился, плевался и выключал эту фальшивку, не веря, что в России всё так

же продолжается беспредел со времён рэкета, когда в поездку один не суйся. В первый же год жизни и работы в городе он приобрёл сначала газовый пистолет, потом добился разрешения на ношение пистолета с резиновыми пулями. Он и сейчас лежал у него в кабине. Анатолий достал его из бардачка, засунул за пояс, прикрытый курткой. Он не знал, как будет действовать, но за маманю отомстит. По-умному, конечно. У него двое детей, подставлять себя не имеет права, хотя в порыве гнева что не наделаешь? Это называется — в состоянии аффекта. Как угодно пусть называется, а суть в том, что вот и он прольёт кровь! Для него наступила война, да и мира-то не было. В состоянии войны так и жил: то за машину воевал не на жизнь, а на смерть, то по дорогам вооружённый ходил, от рэкета отбиваясь. Теперь открытая война, кровь за кровь, только так можно остановить разбой, бешеную собаку ждёт пуля. Тот, кто убил маму,— бешеный зверь. Ему не место на земле.

В дороге несколько успокоился, стал трезво оценивать свои шансы на месть с безупречным алиби. Если это тот подонок, на кого сразу подумал, сработает его одна задумка. На правосудие надежды мало. Найдут тысячу смягчающих вину обстоятельств, получат гады по несколько лет и по половинке выйдут, а мама могла бы дожить до правнуков. Убили!

Он примчался в деревню вместе с опергруппой из райцентра. Зарёванная Вера бросилась к брату на грудь, маленькая, щупленькая, устало и надрывно взывала, захлёбываясь в слезах, как от газового удушья. Сестра, и без того не красавица, может, потому и мужик непутёвый достался, сейчас выглядела ужасно: конопушки по-весеннему залили ей всё лицо, и оно потемнело, блестело от слёз, словно полировка плохого качества. Но Толик любил сестру за ум и доброту. Всегда и во всём поддерживал. У Толика у самого слёзы на глазах, на скулах желваки волнами от отчаянной беспомощности. Он к Вере прикорнулся, прохрипел:

— Найду — затопчу.

Вера тошнее взывала. Вдвоём остались — а то как брата ещё потеряет? Но не место отговорами заниматься. Труп мамы перед глазами. Как лежал, так и лежит, а эксперт щёлкает вспышкой. Лицо мамино заплывло от ударов ещё при жизни, посинело, её били, истязали, связанную! Сковорода с погнутой ручкой на полу, жаркое из печени по кухне раскидано. Видно, мама отбивалась.

На каблуке правой туфли обнаружили незначительные следы крови. Что бы это значило? Толик отстранил Веру, стал внимательно слушать, о чём переговаривались оперы. Сначала хотели выставить его за двери, но, узнав, что он сын, оставили в доме, только попросили не мешать в разбирательстве и под ногами не крутиться. Толик не мешал, слушал и сделал свой вывод. Юбка и кофточка снизу, от пола, у мамы задраны, хотя руки связаны за спиной,— значит, её

тащили за ноги, она брыкалась и кому-то заехала в харю. На этой харе осталась кровавая ссадина. Он найдёт этого подонка и разрядит в него всю резиновую обойму. Убить не убьёт, но болью в шоковое состояние вгонит.

Оперативники неторопливо обмеряли место происшествия, осматривали, фотографировали, а Толик, не мешкая, выскользнул во двор и пошёл к знакомому дому. Это недалеко отсюда, метрах в ста. Дом заброшенный, деревянный, там обитают все бичи деревни. Он найдёт их там. И этого со ссадиной.

Их было в этом вонючем притоне четверо. Вдрызг пьяные, трое спали, среди них девка. На грязном столе бутылки, стаканы, богатая закуска: колбаса, сыр, ветчина. Откуда такое изобилие? Мамины деньги. Бодрствовал один, он явно кайфовал от дозы наркотиков и алкогольному опьянению предпочитал наркотическое. Это был тот, на кого думал. Толик силился вспомнить фамилию, но волнение, охватившее его, вышибло из памяти всё. Горела одна лампочка, но света достаточно, чтобы разглядеть на лбу кровавую ссадину — след маминого каблука с подковкой. Толик выхватил пистолет, подставил дуло к плывущему в облаках человеку.

— Кто убил мою маму? — гася гнев, который мешал ему говорить, спросил Толик находящегося в трансе парня.

Тут же понял, что с человеком разговаривать бесполезно. Он сунул руку в его карман — пусто, во второй — и вынул смятые новенькие пятисотки. Всё ясно!

Анатолий отошёл на два метра и выстрелил улыбающемуся шакалу в грудь, тот взвыл от боли и запрокинулся навзничь, сполз со стула на пол. Вторая, третья пули впились в бок. С этого пока хватит. Анатолий стал обыскивать спящих на продавленном диване алкоголиков. У двоих нашёл такие же новенькие пятисотки. Девка была пуста. Он постоял в размышлении, глядя, как трупом лежит наркоман. Зрачки у Толика расширились от какой-то мысли. Он осторожно вышел в сени, боясь растерять озарение, запер плотно двери.

До старого друга отсюда рукой подать. Его грузовик стоял во дворе, Анатолию надо литра три бензина и металлическую посудину. Он вживую видел, как всё произойдёт, озарение, посетившее его в гадюшнике, не проходило, а рисовалось в деталях. В дороге думал о возмездии, но не знал, как свершить. А тут вспомнил, как однажды его перепугал старый водитель. Дело было зимой, встали перекусить, захотелось горячего чая. Паяльная лампа капризничала, не работала. Тогда водитель нацедил шлангом бензина в небольшое ведёрко и собрался поджигать. «Что вы делаете? Взорвётся же!» Водитель рассмеялся и — бах спичку горящую в ведёрко! Толик только и успел закрыть глаза от ужаса, но никакого взрыва не произошло, открыл глаза: бензин в ведре горел ровным пламенем. Они вскипятили чайник, попили горячего, налили кипятка в термос, а бензин

всё горел и горел. Чтобы не ждать, пока весь выгорит, водитель накрыл посудину куском кошмы, и пламя погасло. Остатки вылили в паяльную лампу. Вот этот фокус и применит Анатолий. И конструкцию свою увидел, качели. Это, конечно, жестоко. А маму убивать не жестоко? За свою жизнь Анатолий никого не обидел так, чтобы человек его возненавидел, никому зла не сделал или старался не делать. Своего не отдавал, но и чужого не хапал, не любил хамов и никогда с такими дел не имел. А с этими отбросами рассчитается по полной программе. Бывший президент Ельцин, отменяя смертную казнь убийцам, с ним не посоветовался. Не только с ним, но со всем народом, а он ни за что бы не дал согласия на этот чёртов мораторий. Не созрело российское общество до такого шага, да и Европа не созрела. Никто не созрел. Он тоже. Левую щёку для удара подставлять не будет.

Укоряя и оправдывая себя, он быстро достал бензина сколько требовалось и, никем не замеченный, вернулся к бичёвскому дому. В нём было тихо. Заглянул: свет горел, все четверо лежали трупами. Окна, в которых давно выбиты стёкла, наглухо забиты досками, через них не выскочишь. Он настроил качели возмездия, которые увидел в своём озарении. На одну сторону поставил посудину с водой, она слегка перевешивала, но держалась на дощечке надёжно, на вторую сторону поставил кастрюльку с бензином, она была чуть выше, но тоже сидела на дощечке устойчиво. Дверь открывалась наружу, в сенцы, он потом подопрёт её палкой, а сейчас Анатолий перекрестился, прошептал:

— За лютую смерть моей мамы кара вам от меня, мой приговор вам, нелюди.

Чиркнул спичкой, бросил в кастрюльку, бензин вспыхнул, качели опасно качнулись, Анатолий замер, обдало холодным потом, но сооружение удержалось, качели успокоились. Пора уходить; бензин, выгорая, облегчит вес, пройдёт не меньше десяти минут, пока посудина с водой так перевесит качели, что свалится с дощечки, и загремит пылающая кастрюлька, бензин разольётся, грохнет взрывчик, и забушует пожар. Анатолий сгрёб в охапку девушку, убедился, что не разбудил, вынес на улицу, уложил под забор, глянул на часы. На всё ушло четырнадцать минут. Оперы, уверен, возьмётся в доме. Это ему на руку. Вернулся в дом огородам, словно после сортира и перекура. Вера ждала его, напряжённым немым взглядом спросила: где был? Дыхнул на неё свежим куревом. Успокоилась, но не поверила.

Оперативники сворачивали осмотр места происшествия, разрешили поднять маму, а следователь приступил к допросу свидетелей. Первой отвечала Валентина, Анатолий напряг слух, но толком кума ничего сказать не могла. Потом вяло цедил слова Валентины муж, который в дом не заходил, а со слов жены звонил в милицию и Вере. Короче, ничего подозрительного ближайšie соседи не заметили.

— Как же не заметили? А корова у калитки мычала, встревожила, вот Валентина и в дом зашла.

Не то хочет услышать следователь, не то, подозрительных людей, машину чужую, номера подавай...

От Веры тоже ничего не добились. Взались за Анатолия, нервного и злого от дурацких допросов и печального в горе. В глазах уже ни слезинки, одна ненависть к убийцам и недовольство оперативниками, которые копаются, как жуки в навозе, непозволительно долго, когда надо ловить местных преступников.

— С чего вы взяли? — спросил его следователь.

— С того, что никто из соседей не видел возле дома машины, кроме перекупщика.

— Они могли оставить машину на другой улице.

— Ага, и рисоваться любопытным сельским бабам своей вальняжной походкой по улицам деревни. Они что, дураки? Уж посторонних тут запеленгуют в два счёта. Но никто никого не видел. Местные неприметные и знают, где можно схорониться, как незаметно в дом проникнуть.

— Может быть, вы нам и преступников назовёте, и укажете, где они спрятались?

— Укажу, если поверите, — Анатолий кидал из-под чёрных, таких же крылатых бровей, как у мамы, холодные молнии.

— Милости просим.

— В заброшенном деревянном доме, думаю. Там один из бичёвников! — и стукнул увесистым кулаком по столу.

— Знаем мы этот притон. Только вряд ли это работа деградированных людей.

— Вам виднее, только я бы все бичёвники и безработных алкашей прямо сейчас перетряс, — Анатолий в негодовании показал руками, как бы он это сделал.

— Что ж, последуем вашему совету, — не без иронии заверил следователь.

— Батюшки, пожар в конце улицы! Как вспыхнуло-то! — раздался со двора женский вопль

— Где пожар? — оперативники один за другим высыпали на улицу.

За ними — все, кто ожидал допроса. Остались только Анатолий и Вера.

— Толя, ты куда уходил? Тебя следователь хотел видеть.

— Здесь я был, Вера, рядом с тобой, ну, может, покурить выходил или до ветру. От волнения, признаюсь тебе, недержание мочи, как после пива. А так всё время здесь, рядом с тобой в трудную минуту.

Вера пристально посмотрела на брата.

— Ты правильно поняла, сестра, они горят. Доказательства у меня в кармане, — Анатолий вытащил смятую пачку пятисоток, показал Вере. — У них по карманам лежали.

— Толя, мне страшно. Как же ты смог?

— Смог, сестра, Бог пособил. Это его кара, он меня осенил, подсказал способ, как всё устроить, а тайну сохранить. За меня не бойся. Я же рядом с тобой был, только на минутку курить выходил, и тут опер меня спросил. Ты так ему теперь и говори, если что: мол, Толя на минутку покурить вышел, а то всё меня утешал.

— Да-да, Толя, утешал. Да разве в горе таком можно утешить?

— Не утетишь. И даже мезтью, что свершилась, маму не вернёшь. Только вот деньги её трудовые вернулись. Труд наш крадут и жизни. Вот откуда на телеканалах природа крови, слёз, огня, грабежей, воровства... Я думал, всё из пальца высосано... Жутко.

— Ты не совсем прав, Толя, у нашей трагедии не та почва.

Толик не хотел понимать никакого переносного смысла. Может ли предполагаемая Верой «почва» оправдать его преступление? Почва — она кормит, если к ней руки приложить, почва создала всё живое, почва — опора всему созидательному, Богом данная во благо, не надо святое увязывать с преступным. Этак всё можно смешать в один ком, которому ни в аду, ни в раю нет места.

Завгороднев, уронив голову на колени сестры, тихо плакал.

Можно ли оплакать невинно пролитую кровь, а посева на крови сжать? Принесут ли зёрна эти истинное насыщение, а скорбь после возмездия превратится ли в радость? Может ли мудрость с мира познания ослабить пороки человеческие, а на болоте вырасти стройное дерево? Затупится ли кинжал о злобу и наточится ли он о добро, чтобы делить им хлеб наш насущный на трапезе справедливости?

с. Сухобузимское, 2007

Ксения Гутова

Опять петухи во дворе раскричались

Победитель краевого литературного конкурса
на соискание премии имени Игнатия Рождественского
в номинации «Малая проза» (среди авторов до 18 лет)

Опять петухи во дворе раскричались. Ну сколько можно им кричать, в самом-то деле? Неужто глотки у них медные, как у горнов наших пионерских? Надо у мамы спросить, она-то точно всё знает. Слышу: на кухне хлопочет да напевает что-то тихонько. То ли колыбельная, то ли народная какая — не разберёшь. А в её песнях и слов знать не надо: всё по голосу прочесть можно, как в старину. Тихонечко поёт, распевно, будто солнышко в комнату только-только заглянуло. А оно давно уже тут хозяйничает: нитки свои золотые развесило, петухов этих треклятых на дворе разбудило, маму с постели подняло. И мне вставать пора, что ли? Хорошо, что лето пришло: кур покормлю — и на речку можно будет сбегать, порыбачить да покупаться, мяч погонять, если Мишку с собой позвать. Хорошо, что лето пришло.

Звон будильника, как всегда, неожиданно ворвался в солнечное утро, пахнущее блинами. Ещё одно утро, ещё один день наедине со своими мыслями, словами, делами.

В деревне Императорское остался всего один житель — Иван Степаныч. Крепкий мужичок, ещё не старый, но уже не молодой, с копной тронутых сединой густых каштановых волос и упрямо вздёрнутым носом. Походка его ещё хранит следы былой военной выправки, но вот спина понемногу начинает сдавать, и по одной только спине Ивана Степаныча и можно угадать его возраст.

Крыльцо приветливо встречает хозяина дождевым блеском поверх слоя коричневой краски. В доме Ивана Степаныча много лет никто не пел, поэтому, когда он поселился здесь, начал петь сам. Вот и сейчас сидит на крылечке мужичок, подстелив старую газетку года этак тридцатого, курит и напевает что-то тихонечко, то ли колыбельную, то ли народную какую. И такая грусть сквозит в этой песне, какая встречается только в русских песнях старинных, которые раньше, давным-давно, пели всей деревней по вечерам морозным, собравшись все вместе в самой большой избе. С крылечка этого всё Императорское видно как на ладони. Вон и двухэтажки, начинающие уже кое-где трескаться да обваливаться штукатуркой. Они всегда первые

встречают и рассвет, и закат. Левее — совсем развалюхи. Именно из них в двухэтажки как раз и переезжали, а дома сами бросили тогда, и никому они с тех пор не нужны, впрочем, как и вся деревня. В центре её стоит любимая улица Ивана Степаныча, на которую ходит он и утром, и вечером, когда по делу, а когда без нужды — просто погулять, окунуться в прошлое. Дома там все как новые стоят под кущами столетних дубов и вязов, притаились и смотрят по-доброму, по-свойски. На краю села остались ещё колхозные постройки, старые-престарые, гнилые все да брошенные. Их Иван Степаныч не любил, но давно привык к ним как к необходимой части пейзажа.

И всю эту маленькую деревеньку, издыхающую от времени, осевшего ей на плечи, опоясывают бескрайние поля, вольные, свободные... Поля, поля до самого горизонта, только кое-где лесочек берёзовый увидишь. И конца-края нет стороне этой огромной, свободной, ничьей, никому, кроме солнца да ветра, не нужной.

Смотрит Иван Степаныч вдаль, видит всю эту красоту, до того родную, что и жить без неё невозможно уже, и слёзы против воли к горлу подступают. «До чего земля большая, величайшая земля...» И каждое утро так, за годом год. Выходит последний житель, садится на крыльцо своего последнего обитаемого дома, видит, как рассвет захватывает поля, леса, вызолачивает каждое деревце и каждую травинку, слышит, как птицы заводят песни на разные лады, и начинает свой новый день, полный малых забот, мыслей и дел. И одиночества, живущего в каждом брошенном доме Императорского.

Сегодня воздух лёгкий, жидкий, значит, всё будет ладиться, и до заката Иван Степаныч, может быть, успеет закончить всё запланированное. Он с самого детства привык весь день мерить по его воздуху. В жару на поле воздух густой и тягучий — работаете тяжело да долго. В мороз воздух колючий, в нос не заходит, а если влезет-таки, так и вовсе оторвать его иной раз может. Зато какой в деревне воздух после дождя! Прохладный, сырой, дышишь им — и будто душа вся омывается, груз какой-то невидимый с неё падает, и легко-легко сразу жить становится, и в руках всё спорится, и одиночество своё безграничное не так сильно чувствуешь...

Вот по этой-то лёгкости, разлитой над деревьями и старыми домами, и отправляется Иван Степаныч исполнять свой ежедневный, ничем и никогда не прерываемый долг. Сначала корову на поле отвести, потом — в курятнике прибрать да на огород выйти. После можно и передохнуть: позавтракать, почитать, сыну позвонить. А потом снова за дело: в трёх домах брошенного селения Иван Степаныч на неделе ещё не был, а надо бы проведать их, горемычных, проверить, что там да как. Сегодня он дал себе зарок зайти и ещё в один дом, в котором не был десять лет — не мог... душа болела, но не мог...

Ещё один взгляд на рассветный блеск, заливающий поля, — и за дело. Почему-то всегда он не мог пройти мимо этого блеска, не посмотрев,

не вдохнув хоть частицы его. Всегда хотелось Ивану Степанычу как-то взять да и запомнить его раз и навсегда, чтоб этот образ в душе остался, а времени по утрам не отнимал. Не получилось. А может, и к счастью? Кто знает, вдруг, если б смог он однажды запомнить этот рассвет, то хватило бы одной картинки в голове, не понадобилось бы смотреть живьём более? А коли так, то не осталось бы в Императорском ни одной живой души, совсем померла бы деревня, а сейчас хоть на нём одном, а держится.

И когда это он начал вслух сам с собой разговаривать? Да с самого детства ещё, пожалуй. Сидит, бывало, маленький Ваня в сенях или в поле где, сидит и играет с вещичками, что под руку попадутся. А если не попадается ничего, то начинает мальчик их выдумывать, вот и получилось, что вслух всегда рассуждал: так проще запомнить всё, что насочинял, да и голос свой успокаивает, если страшно или темно вдруг станет. А потом и в школе, и в армии эта привычка пригодилась: в самой гуще любой обиды, боли, печали стоило ему самому себе сказать: «Успокойся», — так сразу всё волнение как рукой и снимало. А уж в Императорском в последние десять лет так и вовсе поговорить не с кем, кроме себя самого, стало. А говорить надо было, чтоб язык человеческий не забыть да проезжему дикарём последним не показаться. Хотя откуда здесь проезжие?

Вот и сегодня заходил Иван Степаныч в гости к своей коровке с приветом и с привычными ей вопросами о самочувствии. Корова Манька говорить, к несчастью хозяина, не умела, но зато понимала всё отлично, и это читалось по её умным большим глазам, всегда полным слёз — то ли от избытка чувств, то ли от старости или болезни какой. Пока Иван Степаныч выводил Маньку из хлева, утро уже окончательно вступило в свои права. Блеск росы на траве охлаждал корове ноги, и она то и дело недовольно фыркала и пару раз ударила хозяина хвостом по спине, да только он сам вряд ли это заметил. Такая тяга к земле и природе была в этом человеке, что выйди он на улицу в любую погоду — каждый раз находил глазами что-нибудь удивительное для него, красивое, неумолимо притягательное в окрестном пейзаже. Маньке эти чувства были чужды, однако и она утренние прогулки любила — они сулили ей день на лугу с сочной травой, а от этого млеет любая корова.

Вот и луг. Манька довольно кивает головой, когда Иван Степаныч на прощание треплет её за ухо. Потом он произносит ласковое: — До вечера, Манечка, — и идёт в обход поля по некошеной душистой траве, то и дело наступая на лиловые головы клевера, ещё покрытые утренней росой и сияющие в её оперении всеми цветами радуги.

Луг постепенно остаётся позади, вот уже и почти вся деревенская улица просматривается.

Иван Степаныч видит заветный дом, ускоряет шаг и в считанные мгновения оказывается около его двери. Волнение вдруг охватывает

мужчину с ног до головы: десять лет назад он был в этом доме в последний раз и сейчас боялся представить, что может его там ожидать. Несмотря на яркое солнечное утро, перед мысленным взором Ивана Степаныча возникали пугающие видения, одно невероятнее другого, да только всё оборвалось от одного простого движения и скрипа открывающейся двери.

Ни леших, ни пыльных привидений, ни даже обвалившихся балок и ворон с пауками в доме не оказалось. Всё было так, как оставили здесь хозяева, покидая своё жилище. Иван Степаныч переходил из комнаты в комнату, возвращался обратно, присматривался к пыли на полках, столах, кроватях, и уже иные чувства понемногу заполнили его душу. Теперь там царил не страх, а печаль, скопившаяся за целое десятилетие, грусть одиночества, разочарование от несбывшихся надежд и мечтаний. Среди этих невесёлых размышлений перед глазами всплывали самые разные картины: вот ребёнком приходит он сюда в гости к милой девочке с тёмными волосами; вот навещает её, уже девушку, рано утром, оставляя цветы на подоконнике раскрытого окна. А вот сидит он в кухне с её отцом — обсуждают предстоящую свадьбу, что да как будет проходить, кого позвать да где молодые жить будут после. Чуть ли не самые счастливые моменты жизни связаны у Ивана Степаныча с этим домом: старое кирпичное строение до сих пор хранило следы жизни трёх ныне покойных уже людей. Жена Катюша, отрада и порука Ивана Степаныча, выросла в этом доме и умерла в нём же больше пятнадцати лет назад.

Когда её вдруг не стало, Иван Степаныч впервые за всю долгую жизнь почувствовал себя таким одиноким и беспомощным, что хотелось на стенку лезть от горя. В день похорон Катюша была такой же красивой, как при жизни. А он стоял и не мог оторвать от неё глаз, не мог отпустить её от себя, родную, любимую. Больше ничего из того дня он не помнил. Осталось только чувство отчаяния и беспомощности. А ещё он взвалил на себя вину — вину за то, что ничем ей не смог помочь, хотя это было не в его силах.

Сын, приехавший из города на три дня, стоял рядом с отцом на кладбище и, казалось, не совсем ясно понимал, что вокруг происходит. Удивлённое и слегка опечаленное выражение не сходило с его лица во время похорон, а спустя три дня после них он уехал обратно в город. Иван Степаныч не решился отправиться вместе с ним и остался в тогда ещё живой деревне, чтобы помогать по хозяйству родителям Катюши, которые от горя в один миг постарели на добрый десяток лет.

Десяток лет. Целый десяток лет не был он в этом доме после того, как Катюшины родители уехали в город к внуку. За окном дома всё изменилось до неузнаваемости: деревня вымерла и уже начала сдаваться под натиском природных сил. А в комнате не изменилось ровным счётом ничего, только пыль легла толстым слоем на старую мебель, да паутина свесилась со всех углов и люстр.

Все эти невесёлые мысли и воспоминания вихрем пронесли в голове Ивана Степаныча, как только он переступил порог этого пугающего дома. А пугал ли он его? Скорее, наводил тоску, но как раз тоскито Иван Степаныч и боялся больше всего на свете. Жизнерадостный и весёлый от природы, он видел тоску, печаль, уныние только рядом с кладбищенскими стенами, больницами да сгоревшими домами. Всю жизнь он говорил себе: «Почём тосковать, если ничего не вернуть? Почём убиваться, если можно сделать заново?» И шёл, делал, строил, заново возводил свою жизнь, если вдруг что-то шло наперекосяк. Но всё обрушилось буквально до руин с уходом одного-единственного любимого человека. Но жизненная сила, мерно текущая в теле Ивана Степаныча до сих пор, ни разу не изменила ему. Потому что никогда не позволял он себе сидеть сложа руки, всегда силой мысли поднимал своё тело с постели и шёл работать в огород, в хлев, в колхоз — хоть куда, лишь бы не тратить драгоценное время попусту.

Ивану Степанычу всегда казалось, что времени от рождения каждому дано не много, а ему самому — так и совсем маленько. Поэтому и трудился всегда, а силы находил в людях вокруг, в полях, в реках, в небе. Катюша всегда говорила, что он будто из сказки какой вышел, силой волшебной питается. Есть один лесок недалеко от этого пыльного дома, который напоминал Ивану Степанычу о Катюше. Наверное, эта любовь к природе и спасла его тогда и от тоски, и от горя после Катюшиной смерти.

Иван Степаныч сел на пыльный стул, сам того не замечая. Образы сменялись перед глазами один за другим: то люди, которых знал когда-то или думал, что знал, то поля, леса, которые видел раньше и видит сейчас каждый день. Время остановилось для этой комнаты, наполненной десятилетним духом покинутости, а он всё ещё плыл против течения, всё ещё боролся, всё ещё не давал этому самому злему времени одержать победу над его чувствами и разумом.

Лай собаки вывел мужчину из оцепенения. Лай собаки? Да нет, показалось, наверное. Последняя собака из огромной своры бездомных околела ещё прошлой зимой. Эта маленькая и вполне естественная смерть больно ударила по сердцу Ивана Степаныча: собачонка была его верным другом почти те же десять лет, что длилось его одиночество, и прощался он с ней как со старым и любимым другом.

Взять себя в руки, подняться и уйти. Хватит жалеть себя, хватит вспоминать былое, его всё равно уже не вернёшь. Сколько дней сменилось за окнами этого осиротевшего дома и сколько ещё сменится — одному Господу Богу известно, так есть ли толк в этих бесплодных слезах отчаявшегося на старости лет человека?

Звонящий день уже давно захватил всю деревню, высветил все самые отдалённые закоулки, вызарил все самые грустные воспоминания в душе Ивана Степаныча. Как впотьмах, добрался он до таксофона с синим куполом, который всегда напоминал ему церковный свод.

Таксофон, пожалуй, единственный след цивилизации в этом всеми забытом месте. Пару раз в год раздаётся на всю округу его печальный треск-звон — это сын звонит Ивану Степанычу, чтобы поздравить с днём рождения или наступлением Нового года. А сейчас вот сам старик снимает трубку и набирает знакомый номер.

— Ну, здравствуй, сынок.

— Папа? Привет-привет, совсем тебя не узнал.

— Да я и сам себя иногда не узнаю, немудрено. Как поживаешь, дорогой? Когда приедешь ко мне?

— У меня всё хорошо, отец. А когда приеду — не знаю, сам же понимаешь: дела, работа, проектом важным сейчас занимаюсь.

— Заканчивай скорее все свои дела, да и айда ко мне. Мы с тобой на рыбалочку ходим, в лесок с ночёвкой — красота. Да и по дому мне помощь не помешает, немощен я стал, совсем расклеился...

— Как только дел поменьше станет, так сразу и рвану к тебе, папа, столько времени не виделись! А сейчас, извини уж, мне пора, работа, дела, сам знаешь, каково...

— До свидания, сынок.

«Ох, эти мне его вечные дела, заботы. Одичал я совсем от одиночества своего, а ему хоть бы что. И к чему эти города нам? Вырвали человека из деревни, как цветок какой, с корнем, в теплицу бетонную посадили, сказали: мол, это счастье само и есть, наслаждайтесь, — а они и рады тому. Не знают жизни другой. А какая может быть жизнь без земли, без леса, без полей, без блеска этого солнечного по утрам?»

И такая тоска обуяла душу Ивана Степаныча, что не высказать её, не выплакать, густой туман будто поселился в голове и в груди, и дышать тяжело, и думать, и говорить. Кое-как добрался до дома, лёг на постель, заснул беспокойным сном. И снится ему мать: поёт она тихонечко, на кухне хлопочет, тарелками да кастрюльками шумит и напеваает что-то, а слов не разберёшь, а оно и не нужно. И хорошо всё вокруг, тепло, и пошевелиться боишься, чтобы не спугнуть этого видения чудного. А из окон лучи солнечные так и лезут, как пряжа волшебная, и комната искрится, ими наполняясь, и проходят эти лучи через руки, через глаза прямо внутрь. И внутри так же тепло и спокойно становится, а мама всё громче и громче поёт, и слова уже разобрать почти можно. Ещё немножко — и узнаёшь, что поёт она колыбельную, и тепло уже всего тебя наполнило и через край вот-вот хлынет, а ты держишь его внутри, и вдруг всё светом заливается, как стол — молоком из банки. Свет — и всё. Больше ничего нет. И не будет.

Солнце выглядывает из-за гряды деревьев, пускает свои блестящие лучи на бескрайние поля, вызолачивает каждый листик и каждую травинку. И дома в Императорском сияют в этом утреннем свете как новые, забыв про свою ветхость и заброшенность.

Рассвет сегодня прекрасен, как никогда раньше. Жаль только, что некому больше на него смотреть.

Олег Нехаев

Ущербный месяц

Победитель краевого литературного конкурса на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Малая проза»

Володька Чарышев, закончив в 1989 году московский пединститут, сам напросился, чтобы его распределили в Сибирь. Он прилетел на Ангару, в районный центр Кежинск. Проделанный путь уже был для него грандиозным путешествием, но оказалось, что «его» школа находилась не здесь, а ещё дальше — на две сотни километров вниз по реке, в деревне, которая «романтично» именовалась Косая Шивера.

Почему-то именно это название не давало ему покоя. Лёжа на кровати в захолустной гостинице, Володька начал вспоминать всех сокурсников, которые относились к его поступку как к «выбору идюта с красным дипломом». Теперь и он засомневался в своей правоте. Неожиданно почувствовал, что та самостоятельная жизнь, о которой всё время мечтал, уже началась. И совсем не так, как представлялось раньше. Выходило, что в институте его хорошо научили, как учить других, а вот как жить самому, ему только предстояло научиться. Педагогическая телега гарцевала впереди житейской лошади.

Ранним туманным утром Чарышев пришёл на причал, где его ждал небольшой катер «каэска». Капитан Петухов, увидев его, добродушно спросил:

— Учитель?

Володька, впервые услышав такое к себе обращение, растерялся, но затем кивнул и с волнением выдохнул:

— Да!

Ему помогли затащить на борт тяжеленную сумку и спуститься в каюту, где уже сидели два мужичка в фуфайках и бойкая старушка, которую величали Меркурьевой.

Володька ожидал, что сейчас прозвучит команда: «Отдать швартовы!» — и раздастся протяжный корабельный гудок, но вместо этого где-то далеко-далеко замычала охрипшая корова. Вот так буднично они и отплыли в его новую жизнь. Из-за тумана не было видно даже противоположного берега.

Мужики сразу достали бутылку самогона, хлеб и луковицу. Чарышев выпил с ними полстакана и вскоре задремал под урчание двигателя. Проснулся оттого, что его кто-то тормозил:

— Шивера... Шивера скоро будет.

Володька открыл глаза. И тут же начал снова засыпать. Но раздавшийся громкий смех заставил его встрепенуться. Гоготали мужики, увлечённо слушавшие Меркурьевну, которая весело рассказывала ангарские байки:

—...А дед Кузьма Выпоротков тоже попал в историю. В магазин на горке пришёл... Смотрит, а там народу собралось тьма-тьмущая... И все галдят... Ну, дед Кузьма не стерпел, поинтересовался: «Дак это вы, ребята, про чё разговариваете?!» А Лидка Задорновская ему объясняет, а сама на приёмник показывает: «Ой, дедушка, только что по радиову сообщили, что американские космонавты на Луне высадились...» Дед Кузьма призадумался, а потом как отарашится: «Ох, змея, они как там высадиться-та смогли?! Месяц-то сёдни на ущербе! Как не оборважились? Вы чё, бабы, брешете?! А?!»

Меркурьевна всплеснула руками и уверенно подтвердила:

—А луна и правда тогда на ущербе была. Месяц серпиком на небе висел... Никакой космонавт там зацепиться не смог бы.

Все весело смеялись над рассказом Меркурьевны. А «каэска» тем временем медленно подошла к скалистому утёсу и ткнулась носом в берег.

Володька был уверен, что на причале его будет ждать директор школы. Но на берегу никого не было. Причала тоже не было. Он спустился по узенькому трапу. Петухов крикнул:

—Успехов тебе, учитель! — и помахал рукой.

Заспанный Володька умылся в Ангаре. Пригладил волосы. Стал доставать платок из кармана рубашки, и вместе с ним выскользнул сложенный вчетверо приказ о его назначении. Лёгкий ветерок подхватил листочек, и тот, кувыркнувшись в воду, скрылся под набежавшей волной.

Чарышев не догадывался, что нужно было пройти вперёд всего лишь метров двести, и там начиналась хорошая дорога, ведущая от реки на деревенский угор. Он же пошёл напрямую к дому с красной крышей. Сквозь непролазный чертополох и обжигающую крапиву. Туда, где из-за ограды слышался женский голос:

—Бунька, куда прёшь, зараза?! Ну, я тебе сейчас задам!

Володька наконец пробрался поближе к ограде. Заметил огромный белый камень. С разгона вскочил на него и сразу увидел почти перед собой девушку, склонившуюся над капустными грядками. Перед ним предстали её оголённые ноги и розовые рейтузы, в которые были небрежно вбраны полы линялого халатика в голубенький цветочек.

Нахлынувшее смущение от этого неожиданного подглядывания тут же устроило внутри Володьки борьбу с другим, не менее сильным чувством страстного вожделения. Было стыдно смотреть, но в то же время он не мог не смотреть на эти красивые, соблазнительные ноги. Они были загоревшими только до коленок. А дальше начиналась белая сочная упругость молодого тела, омытого капельками стекавших росинок. И от этого его соблазн становился ещё более желанным и притягательным.

Володька хотел поздороваться, но его «здравствуйте» застряло где-то на уровне солнечного сплетения. Девушка, услышав позади себя какое-то сопение, прекратила срезать капустные листья и стала медленно оборачиваться, ища глазами шkodливую козу Буньку. А увидела голову вихрастого парня, который пристально смотрел на неё огромными голубыми глазами.

Девушка резко одёрнула платье и возмущённо закричала: — Ты чё тарачишься?! Ну-ка пошёл отсюда! — и швырнула в бесстыжую голову первое, что попало под руку.

А попался кочан капусты, который она одним махом выдернула с грядки. Комья земли, словно шrapнель, ударили по листьям крапивы. — Урод! Урод! Урод бесстыжий! — негодуяще кричала возмущённая девушка.

Но уже через несколько секунд она стала осознавать, что человек, рухнувший за ограду, не издаёт ни единого звука.

— Ой, мамочка! — воскликнула девушка, приложив руки к груди. — Эй?! — дрожащим голосом спросила она с вытаращенными от испуга глазами. — Ты... ты живой там?

Из лопухов раздалось шуршание.

— Ага! — обиженно промямлил Володька, поднимаясь. — Я же... я же только спросить у вас хотел, — неуверенно продолжил он, опасливо залезая на камень.

Потирая раскрасневшийся от удара глаз и зудящее от ожога крапивы лицо, он начал ей рассказывать, что будет работать учителем в местной школе. Что сам выбрал это место...

Девушку звали Натальей. Она слушала и не слышала. Утирала неожиданно выступившие слёзы и чувствовала, как приятное тепло начинает растекаться по её телу. Она ещё не понимала, откуда возникает это пульсирующее умиротворение. И почему оно запорхало в ней ласковым мотыльком. Она это просто чувствовала, и всё. Ей нравился голос этого парня. Он был ровный, уверенный и в то же время какой-то очень мелодичный и притягательный. Позови её — и она уедет с ним куда угодно. Прямо сейчас. Лишь бы позвал. Тем более что уже успела заметить: обручального кольца на руке у него не было. И она тоже жила одна. Родители погибли на реке года три назад.

Проведя Володьку через огород к себе во двор, Наталья, приодевшись, побежала к директору школы. Но не нашла его, хотя и обегала пол-Шиверы.

Вечерело. На улице в окошках уже отражался багрянец заката. В этот день был Чистый четверг, и в разных концах деревни над банями струился белёсый дым.

Подходя к дому, неожиданно услышала, как её окликнул школьный директор Бабашкин, крепкий маленький старичок. Во двор они вошли вместе.

Чарышев гладил козу. Увидев его, даже Наталья поразились произошедшей с ним перемене. Его левый глаз заплыл, и под ним появился огромный кровоподтёк. А правая половина лица опухла и покрылась белыми волдырями.

Бабашкин, подозрительно глянув на незнакомца, грозно потребовал предъявить документы. Чарышев тут же стал объяснять, что выданный приказ у него случайно утонул в Ангаре, и с подобием улыбки протянул паспорт. Директор, мельком глянув на две первые страницы, тут же вернул его обратно:

— Ясно! — и, ничего не объясняя, вышел за ворота.

Наталья догнала его на улице и удивлённо спросила:

— Вилен Изельевич, так что с ним делать-то дальше?!

— Не знаю! Пьянь подзаборная. От него же перегаром несёт, и морда вся побитая. Да и мне никаких указаний из районо не поступало.

— Так у нас же уже три недели как связи нет.

— Вот и я говорю, что не проверишь, кто он такой. Может, аферист или вор в розыске. Я бы и тебе посоветовал держаться от него подальше.

Володька встретил Наталью возмущённым криком:

— Спасибо! Я всё слышал... Встретили меня как родного. Приняли. Квартиру дали, как и обещали... В общем, я уезжаю обратно. Прямо сейчас!

— Разбежался... — спокойно отреагировала Наталья. — Ближайший теплоход будет только послезавтра... Так что пойдём в дом, учитель. Голодный же, наверное?

Они ели яичницу с оранжевыми желтками и поджаристой сохатиной. А затем Наталья налила из кринки в белую эмалированную кружку холоднющего молока. И Володька пил его с жадностью, закусывая краюхой хлеба с румяной корочкой. А когда всё выпил, неотрывно смотрел на стекающие с боков кринки капельки испарины.

Наталья вновь засмеялась, глянув на распухшее лицо Володьки, и сказала:

— Ты посиди. А я по делам сбегаю.

Наталья подоила козу. Нагребла ей сена. Прибрала в курятнике. Заглянула в баню и подбросила дров в печку. Сделав неотложное, зашла в дом, специально громко притворив за собой дверь.

Володька сидел на полу, прислонившись к притолоке, с упоением читая томик Пушкина. Узорчатый половичок под его ногами собрался в гармошку.

— Баня уже протопилась. Пойдёшь? — спросила Наталья и тут же залилась звонким смехом, увидев, как испуганно встрепенулся, среагировав на её голос, этот «чудной парень». — Зачитался? — продолжала хохотать Наталья.

— Ага! — сказал смущённо Володька, закрывая книгу.

— Папка этого Пушкина, всё его собрание сочинений, за десять вёдер харюзов купил когда-то в Енисейске. Мамка ругалась тогда... Ох ругалась!

Потом помолчала и тихо спросила:

— Так ты в баню пойдёшь?

— Можно, — сказал Володька. — А Пушкин... — он поднял книгу, как будто показывая её весомость. — Пушкин, он — удивительный. До сих пор до конца не разгаданный...

— Там в бане, — резко перебила его Наталья, — всё есть. Сам разберёшься. Холодная вода в кадке. Веник я замочила. Ну а пару сам поддашь, сколь не жалко. Свечку вот возьми.

Володька, выросший в городке среди южнорусских степей, вообще никогда не был в деревенской бане, а уж в сибирской — тем более. Но почему-то она ему приглянулась сразу, как только вошёл в неё. Он даже не успел зажечь свечу, а уже почувствовал, как вместе с тёплым влажным воздухом на него пахнуло приятным, очень знакомым ароматом. В нём он явственно ощутил что-то родное и привычное.

Первым из знакомых запахов Володька почувствовал в бане терпкий аромат степного чабреца, пучки которого висели на стене предбанника. Отчётливо пахло запаренными берёзовыми листьями. Без труда различил он утончённое благоухание душицы и пряную насыщенность свежей мяты. Но другой запах, который был коренным, отдававшим лёгкой смолистостью и какой-то утончённой лесной свежестью, оставался для него незнакомым. Он сел в уголке на широченную лавку, прислонился к стене из отёсанных брёвен и сразу понял, что так пахло само дерево, из которого была срублена банька. Ему сразу вспомнилось его дикая, нетронутая степь, где прошло детство... У него защемило внутри так, как никогда раньше.

Учился в Москве — просто хотелось домой. А сейчас он ощутил совершенно другое — влекущий зов родины. Будто издали издали тоскливой песней зазвенел колокольчик. Он, наверное, когда-нибудь звучит для всех, только не все его слышат. Но достаточно один раз различить его тихий перезвон, чтобы уже никогда не забыть этот влекущий томительный звук из прекрасного прошлого. И это едва различимое «динь-динь-динь» будет всегда нести в себе радость и тоску одновременно, никогда не отделяя одно от другого.

Володька вошёл в парилку с азартом. Накалённый воздух сначала шибанул ему жаром в лицо и тут же прокатился горячей волной по молодому телу. Даже огонёк свечи, будто обжёгшись, пыхнул в этот момент ярким оранжевым пламенем.

— У-у-у, как натопили! — довольно сказал Володька.

И тут же, увидев каменку, осторожно плеснул на неё воду. Клуб пара с громким «ахом» мгновенно взвился под потолок. Володька вылил на раскалённые камни-окатыши ещё три неполных ковшика, каждый раз стремительно отдёргивая руку. Пар взрывался с ором,

с ревущим пшиканьем, быстро превращаясь в горячее облако, которое тут же рассеивалось и ниспадало обжигающим жаром.

Он открыл задвижку печки и бросил на раскалённые угли сосновое полено. Огонь вспыхнул яростно, с подвынным гудом, с шипением и треском пенящийся смолы, по которой стремительно забегали жёлто-голубые язычки пламени. Огненные отсветы тут же заплясали по кедровым доскам стен и потолка. Во всём этом было что-то завораживающее, страстное, языческое, бесноватое.

Володька ощутил эту будоражащую энергию открытого огня, который возбуждал чувства и очищал душу. Он парился яростно, будто желая избавиться от всего того, что пришлось пережить в последние дни. Безжалостно хлестал себя берёзовым веником. С каким-то звериным фырканием окатывал себя холодной водой, не замечая, что брызги давно загасили оплавленную свечу. И только когда огонь в печурке утих, Володька почувствовал, как нестерпимо стало жечь уши, как при каждом вздохе раскалённый воздух начал обжигать лёгкие, а кожа стягивалась от сухости так, как будто в ней уже не осталось ни одной капельки пота. Он побежал в потёмках к выходу, опрокинув на ходу какую-то жестяную выварку. Ничего не видя, стал нащупывать руками дверь. Наткнулся на ручку. Дёрнул за неё — и понял, что дверь заклинило.

Он толкал её от себя изо всех сил, упираясь ногами и плечом, и не мог открыть. От жара даже дерево стало нестерпимо горячим и начало обжигать кожу на руках.

Наталья тем временем полезла в шкаф за пододеяльником, чтобы застелить постель. Увидела полотенца и всплеснула руками:

— Ох и разиня!

Она выбрала самое красивое и понесла его в баню, освещая дорогу керосиновой лампой. Постучав в окошко предбанника и не услышав ответа, Наталья спросила:

— Эй, ты здесь?

Просунула руку в приоткрытую дверь и стала нащупывать крючок на стене, чтобы повесить полотенце. В ту же секунду раздался панический крик:

— Выпустите меня! Кто-нибудь! Выпустите!

Перепуганная Наталья вбежала в предбанник и что есть силы рванула на себя дверь. Та распахнулась с неожиданной лёгкостью. Володька стремительно выскочил на свет откуда-то сбоку, чуть не сбив с ног Наталью. Добежал до выхода и стал судорожно вдыхать прохладный воздух, подняв голову к звёздному небу.

— Всё, думал — сварюсь! — начал он говорить, задыхаясь. — Никогда не мог выйти. Дёргал, дёргал...

— Ты за чё дёргал? — всё поняв, прыснула со смеху Наталья.

— Вон там, такая загогулина... — махнул рукой Володька, радуясь прохладному воздуху.

— Это же папка дверную ручку из комля к стенке прибил... Когда ещё баба Нюра жива была... Она с палочкой ходила. Вот он и приделал, чтобы она за неё держаться могла, когда в бане мылась. Парилась до девяноста лет... А на самой двери ручки у нас отродясь не было, только верёвочка привязана...

Наталья торопливо налила квасу и, искоса поглядывая на голого Володьку, сказала:

— На, попей холоденького! А то действительно похож на закипевший самовар.

Володька потянулся за кружкой, и тут только до него дошло, что запросто стоит перед этой молодой женщиной в чём мать родила. Он испуганно опустил руки, спешно прикрывая своё мужское достоинство. Кружка с квасом звонко бухнулась на пол.

— Да не смотрю я на тебя! — крикнула Наталья и попыталась, словно птица, попавшая в силки, быстро выпорхнуть через открытую дверь.

Володька неуклюже посторонился и неожиданно ощутил приятательное прикосновение молодого женского тела, пахнущего ромашками. Её упругие груди только на мгновение прикоснулись к его плечу. И сладкий трепет тут же объял хмельной страстностью и закружил в неудержимом влечении. Володька привлёк Наталью и стал нежно целовать её мягкие губы, волосы, шею. И она ласково обняла его, не говоря ни слова, готовая вся отдаться будоражащему греховному соблазну плоти, который кружил голову дьявольским зельем...

Утром Володька встал очень рано. Разбудил его голосистый крик петуха. На цыпочках, чтобы не потревожить Наталью, он вышел во двор. Солнце ещё не взошло, но над Ангарой сквозь мглистую серость уже пробивались первые красноватые отсветы. С реки отчётливо слышались всплески воды и прерывистое урчание мотора. Кто-то плыл на лодке. Было хорошо.

В углу двора, возле горы сосновых чурбаков, на коряжистой колодине лежал топор. Его лезвие настолько затупилось, что кромкой бывшего острия можно было забивать гвозди. Володька взял топор и удивлённо покачал головой. «Это же надо до такого состояния довести инструмент!» — подумал он, поражаясь женской неприспособленности. Но в то же время, после вчерашнего сближения, он уже ощущал свою ответственность перед Натальей и решил, что для наведения порядка ему позволительно и похозяйничать без спросу.

Большой напильник-рашпиль нашёлся под навесом. Володька размашисто точил топор на колодине, но металл поддавался с таким трудом, что он уже весь взмок, а кромка лезвия по-прежнему оставалась яйцеобразной.

Наталья проснулась от странного скрежещущего звука. Быстро подхватила, понимая, что это в её дворе кто-то курочит железо. Мельком глянула на дальнюю комнату и, не увидев Володьку, перепугалась

ещё больше. «Может, он и вправду какой аферист? — промелькнуло у неё неприятное подозрение. — Куда вот он сбежал ни свет ни заря?!»

Она кинулась к лежащему под божницей гомонку. Но в потрёпанном кошельке все деньги были на месте. Она с лютостью выскочила на крыльцо прямо в ночной рубашке, прихватив по дороге ружьё, которое всегда держала наготове за посудным шкафом.

— Доброе утро, Наташ! — радостно поприветствовал её Володька. — Ничего, что я без спросу хозяйничаю?

— А-а-а... Ага! — растерянно сказала Наталья, опуская ружьё. — Я... я... я так и думала... А чевой-то ты делаешь?

— Топор точу, — удивился несуразному вопросу Володька.

— А-а-а... И зачем ты его точишь?

— Да вот дрова, думаю, надо порубить. А он у тебя тупой-претупой...

— Так дровокол же...

— Ну... Я и говорю, только не наточенный.

— А ты это с чего взял, что он должен быть бритным?

— Каким?

Тут уже Наталья вконец осерчала на Володькину непонятливость. Небрежно прислонила к стенке ружьё. Хватко взяла из его рук дровокол. Поставила чурку на колодину:

— Гляди, — и с лёгкостью её расколола. — Не наточенный... Ты откуда родом-то будешь? Не сибиряк, что ли?

— Нет.

— Оно и видно, что причандалистый какой-то...

— Какой?

— Такой... Нездешний, — и Наталья с лёгкостью расколола очередную чурку.

— А-а-а. А ты с ружьём-то куда собралась?

Наталья замялась. Покраснела. Но тут же нашлась что ответить:

— Дак это... Ворон пужнуть... Всю капусту издырявили. Прямо житья не дают...

— А мне хоть разок дашь стрельнуть?

— Сейчас, что ли? Ещё чего! Сейчас пальнёшь, так враз всю деревню разбудишь, — сказала Наталья, тут же вспомнив, что три патрона, которые у неё были, так и остались лежать в жестяной банке. — Ты вот что... Только пойми меня правильно... — и она как-то недоверчиво посмотрела на него. — Ты, Володь, если люди спросят, так ты скажи, что ночевал в летней кухне. Ладно?

— Зачем, Наташ?! Я же... Я ведь думал, что мы теперь... — но, увидев строгий взгляд Натальи, Володька замолчал, а потом согласно кивнул.

— Ну вот и хорошо! А то знаешь как у нас в деревне... На одном конце только споткнёшься, а на другом уже кричат, что упал.

Только на самом деле Наталья думала о другом. О Володькином высказывании про его скорый отъезд. И отсюда исходили все её страхи. А сам Володька никак не ожидал такого поворота и понял всё

по-своему: вчерашнее было мимолётным порывом. Для него — возвышенным и серьёзным, а для неё — ничего не значащим.

Он почувствовал себя отверженным. И от осознания этого ему стало больно и унижительно. Сможет ли он в дальнейшем любить с прежней открытостью и искренностью? Страх быть вновь обманутым и брошенным делает и самого пострадавшего предрасположенным к неосознанному предательству. Вера убивается сомнениями, но с них же начинается и путь к истине. Точно так же как темнота разрушается светом, который в ней же и зарождается. И несущественное становится сущностью. И всё всегда начинается с малого. И всё когда-нибудь уходит. Абсолютно всё. А у человека остаётся только одна душа, познавшая и сохранившая любовь.

Ровно через неделю Владимир Алексеевич Чарышев провёл свой первый в жизни самостоятельный урок в шиверинской школе. Урок истории для шестого класса.

Пётр Коваленко

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я помню, как с войны вернулся брат.
 Скрипя в пустом подворье костылями,
 Видавший виды гвардии солдат,
 Он, как ребёнок, громко крикнул: «Мама!»
 И замолчал,
 И губы прикусил,
 И костыли,
 Как раненые крылья,
 На звонкие ступени уронил
 И рухнул, задыхаясь от бессилья.
 И ойкнуло,
 И ахнуло село,
 И тут, и там взахлёб заголосили:
 «Отдышится...»
 «В родном углу тепло...»
 «Какое счастье Марье привалило!»

ОКОПЫ

Я их бесщётно рыл лопатой.
 Долбил киркой,
 Сверлил штыком.
 И по песчинке, в пекле ада,
 Солдатским черпал котелком.
 Мешались с кровью пот и глина,
 Трещала кожа на руках...
 И пули прошивали спину,
 Осколки плющились в костях.
 А я, клещом вцепившись в землю,
 И целовал её, и грыз.
 Я шар земной
 Тогда, наверно,
 Прогрыз насквозь —
 И вырвал жизнь!

* * *

Нас память возвращает в пекло боя,
Но в прошлое заказаны пути...
Я уплатил с лихвою за бывшее.
И что ещё могу я там найти?
Ничто уже бывшего не изменит,
Убитых не вернуть и не поднять.
Встань, время, перед ними на колени,
Живым о них всю правду надо знать.

СОЛДАТЫ

Солдаты солдата зарыли
В горячей воронке сырой,
Им некогда было могилу
Копать на земле фронтовой.
Шагают от схватки до схватки,
От боя до боя идут,
Всё больше и больше солдаток
Напрасно возлюбленных ждут.
Так было, так было, так было
Не месяц, не год и не два...
Могилы, могилы, могилы,
И где-то за далью — Москва.
Идут батальоны на запад,
И нет им дороги назад.
В горячих воронках солдаты
На совести мира лежат...
Окончились дни лихолетья,
Мы снова встречаем весну.
Растут любопытные дети
И снова играют в войну.
Их бой увлекает азартом,
Их время в дорогу зовёт.
Но кто мне ответит, что завтра
Мальчишек и девочек ждёт?
Не будут ли снова меж схваток
Солдаты солдат зарывать?
Не будут ли снова солдатки
Напрасно возлюбленных ждать?
Не будут? Набат миллионов...
Кто смеет о тех забывать,
О тех, кто в заросших воронках
На совести мира лежат?

В РАЗВЕДКЕ

Вторую неделю пластаемся мы,
Издраны в дым маскхалаты.
Нам взять языка непременно живым
Любою ценою надо.
Любою ценой.
А цена — это мы,
Солдатская кровь
И солдатские жизни.
Как призраки, лезем болотом гнилым
От риска до риска,
От риска до риска.
Ещё неизвестно,
Когда мы возьмём,
Кого... И возьмём ли? Не знаем...
И здесь не пролезешь,
И там не пройдёшь:
То доты,
То дзоты,
То мины.
Вторую неделю пластаемся мы,
Черней головешек солдаты.
Нам взять языка непременно живым
Любою ценою надо.
Любою ценою...
Мы платим сполна,
Без сдачи за всё, не торгуясь.
Убит Тимофеев, лихой старшина,
Убит рядовой Чугуев.
И вот на руках умирает Петров —
Учитель из Ашхабада.
А фрицы за бруствером — десять шагов,
Хватить бы туда гранатой.
За всех рассчитаться...
Да надо живым
Нам взять языка непременно.
И мы, выжидая момента, лежим.
А есть ли такие моменты?..
Мы выждем.
Ворвёмся в окоп на штыках,
Отвагу на риск умножая.
..Всю жизнь на моих обгоревших руках
Разведчик молчком умирает.

ВСТРЕЧА В РАЗВЕДКЕ

Сошлись нос в нос,
Столкнулись грудью в грудь.
Разведка натолкнулась на разведку.
Не разминуться в поле, не свернуть.
Эх, надо б здесь войне поставить метки!
Без криков,
Без проклятий,
Кто кого...
Душили,
Грызли,
Резали,
Кололи...
И не хватило у зимы снегов
Засыпать лужи крови в бранном поле.

...И до утра я не сомкну глаза:
Маячат мертвецы в кошмаре мгlistом,
И бьётся из-под лезвия ножа
В дымящий снег струёю кровь фашиста.

* * *

Бывало и такое на войне:
Всего за час до жаркого сраженья
Весь батальон, припав к сырой земле,
Храпел, аж листья падали с деревьев.
Никто не думал,
Что нас ждёт потом,
Каким тяжёлым будет пробужденье.
И снились сны:
Кому — родимый дом,
Кому — в хлебах родимые деревни.
И улыбались воины во сне,
Как будто снова их качали в зыбках,
И было странно видеть на войне
Не смерть, не раны —
Мирные улыбки.
Жужжали сыто пчёлы в тишине,
Цвёл мак, росой июльской обрызган.
Спал батальон
Мертвецким сном в траве
На грани смерти
И на грани жизни.

СОЛДАТУ ДОЛГО СПАТЬ НЕЛЬЗЯ

За боем — бой.

Опять: «Вперёд!»

Устал солдат, идти не может.

Уснуть бы чуть... Проспал бы год,

Пусть только ротный не тревожит.

Пронизанный огнём и страхом,

Крепится из последних сил,

Готовый хоть сейчас на плаху,

Чтоб только знать, что победил.

И, встретив пулю в серой мути,

Сомкнув усталые глаза,

Шепнёт: «Я только на минуту...»

Солдату долго спать нельзя».

* * *

Из семерых вернулись двое.

И не пришли, а приползли.

Как будто их под бороною

Сто вёрст по полю волокли.

Пошли бинты, палатки в дело,

Трещат рубахи в тишине.

Кто говорит, мы огрубели

И очерствели на войне?

Кто не видал, как умирают,

В бреду сгорая и в крови,

Тот ничего о нас не знает —

О наших муках и любви.

* * *

Дымился след кровавый на снегу,

Горели танки,

И чадили доты.

Той страшной ночи

Не забыть врагу

И нашей штурмовой

Курсантской роте.

Хочу забыть я,

Только не могу:

Напоминает под ребром осколок...

Теряя кровь,

Опять лежу в снегу,

Прикрыв собою раненый пригорок.

СТЕНА

Мы целый месяц брали город,
Хлебнув по горло слёз и горя.
И, расплескав штыками Дон,
Ворвались сразу с трёх сторон.
Мы брали город на Дону,
А взяли лишь одну стену.
Как перст проклятия, черна,
На город весь одна, одна
Над прахом высилась стена!
Мы много, много раз потом
С боями, редко без боёв,
Немало брали городов...
И в омут канула война,
А мне всё грезится она,
На город весь одна, одна —
Изрешечённая стена!..
Я, как больной, в бреду мечусь,
Я проклиная,
Я боюсь!
И за тебя, родная Русь,
Боюсь за весь огромный мир,
Что откупили кровью мы.
А если, если вновь она?
Уже не та,
Не та война
Разрывом сплюснет полюса...
Нет, нет!
Вы слышите, нельзя!
Во имя всех и всем нельзя!
Как перст проклятия, черна,
На целый мир
Одна, одна
Во сне мне грезится стена.

Ольга Гуляева

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ

«Хлеба и зрелищ», — кричали они и зверели,
 И выпекались хлеба, и лежал на песке гладиатор.
 Гражданам важно — так дайте же хлеба и зрелищ,
 Чтобы не делали дел и не смели искать виноватых.

Это дешевле, чем строить дома и дороги —
 Скромно, со вкусом, приятно для глаз и душевно.
 Мир развлечений прекрасен, полезен, огромен.
 Это немалые деньги, но это выходит дешевле.

И суррогат, и уже ничего не докажешь.
 И развлекать, и бесплатно кормить суррогатом
 Гражданам важно, так хлеба и зрелищ для граждан!
 И выпекают хлеба, и лежит на песке гладиатор.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

А там, в другой реальности, извне,
 Шумит пейзаж чарующе осенний,
 И там есть мир, и в этом мире нет
 Ни войн, ни голода и ни землетрясений.

А здесь всё происходит как всегда:
 Качнётся Вифлеемская звезда,
 И небо станет бархатом и ситцем,
 И Он опять родится.

Потом, весной, Он будет на кресте,
 Потом Он станет кровью, станет телом —
 Тот, кто разрушил несколько систем,
 В итоге сам становится системой.

И где-то высоко замкнётся круг —
 И разомкнётся, закрутив спирали;
 Опять родится, и опять распнут,
 И снова пожалеют, что распяли.

И Он вернётся. И опять они
 Заголосят: «Распни его, распни».

СУББОТНЕЕ

В субботу идёшь на йогу, встречаешь друга,
И примеряешь мир, и понимаешь: тесен.
Политики врут, синоптики тоже, в трамвае ругань —
Это ни хорошо, ни плохо, но это бесит.

Кому нужны оппоненты — чаще всего находит
В такси, на базаре, в соседях и в текстах песен,
В политиках и в синоптиках, в супе, в друзьях, в погоде —
И это тоже вполне нормально, но это бесит.

А кто-то время от времени, кто-то до аллергии
(вряд ли аллергик бывает когда-то весел)
Искренне полагает: виною всему другие,
Только другие не виноваты, и это бесит.

В субботу встречаешь друга, идёшь на йогу,
В среду читаешь абзац из Марсея Пруста,
В новом году не куришь, вечером — только йогурт.
Это по-человечески, это мило, но это грустно.

Иной интроверт с виду вполне экстравертен.
Иной однолюб с виду вполне полигамен.
Многие храбрецы склонны бояться смерти —
Видимо, потому бьют в основном ногами.

Сила, известно, в правде, правда всегда простая —
Цитата из Льва Толстого, цитата ли из «Майн Кампфа».
Бесит, конечно, но каждый себя считает
Не самой полезной, но всё-таки вещью Канта.

Сила-то в правде... любят ли тех, кто честен?..
Правда нормализует всю мировую прану.
Правда у всех различна, и это бесит.
Это невероятно бесит, но это правда.

* * *

Далеко-далеко в море рыбу ловят нерпы,
И цветёт весной багульник, тёмно-розовый багульник.
Высоко-высоко в облаках летает беркут,
Солнце тонет в синем море в фиолетовом июле.

И всему молиться можно, если идолопоклонник,
И рассвет сейчас не к спеху, и закат сейчас не к спеху.

Высоко-высоко в облаках гуляют кони.
Далеко-далеко в городах пасутся еху.

ТОГОШКА

Иду по дороге из жёлтого кирпича.
Я не Страшила, не Элли, не Дровосек.
Я не ищу финалов, не жду начал,
Не засыпаю в маках, но я — как все —
Чего-то желаю, могу иногда рычать,
В меру красив, но иногда нелеп.
Иду по дороге из жёлтого кирпича.
Я не трусливый, но и не то чтоб лев.
Я как Страшила — мне бы чуть-чуть мозгов.
Чувства ржавеют? — есть ещё много чувств.
Я — как и все, только чуть-чуть другой.
Я — как и все, только совсем чуть-чуть.
Элли идёт вприскок, и я — за ней.
Её Изумрудный город недалеко.
Зачем ей волшебник? (Я подавляю гнев.)
Зачем ей волшебник? Кто он вообще такой?..

Её Изумрудный город — одно враньё.
Дорога из кирпича день ото дня длинней.
Элли идёт вприскок. Очень люблю её.
Я же собака, вот и иду за ней.

АРТИСТКА ЛИДИЯ РУСЛАНОВА

И для бойцов, и для начальников,
И для рабочих, и для служащих
«Катюшу» пела, пела «Валенки»,
И люди радовались. Слушали.

И люди радовались, слушали —
В Москве на сцене ли, на фронте ли...
И объявляли-то заслуженной,
Но знали, что она — народная.

«Камаринскую» ли, «Красотку» ли,
«Очаровательные глазки» ли —
Она была из песни соткана,
Такой неистойвой и ласковой.

Я, замирая сердцем, слушаю
И ощущаю что-то главное,
Когда поёт в моих наушниках
Артистка Лидия Русланова.

СЕДЬМОЙ ТРАМВАЙ

Люди в трамвае делают вид, что она не здесь.
Бог, посмотрев на неё, предпочёл дарвинизм.
Её как бы нету, её не видят, но как бы есть —
Едет куда-то материально-телесный низ.

Маша? Наташа? Света? Не всё ли теперь одно?
Да не воняет — и ладно: мало ли их, таких.
Она отщепенка, она социальное дно
Этой прекрасной, могучей, чистой, большой реки.

Молится ли она? Если молится, то о чём?
Мне, как и всем, глубоко на неё плевать.
Ангел. Убитый. За левым её плечом.
Люди. Дорога. Рельсы. Седьмой трамвай.

МАРИЯ

Плачет Мария, губы её дрожат,
Учит его, чтобы не ел с ножа.

Плачет Мария (голос её дрожит),
Чтобы простил этих её чужих.

Поочерёдно прощает, кого-то когда-то спас
(Проще простить, спасает не всякий раз).

Он понимает, кивает, смеётся, ждёт.
Он не бывает глух, не бывает нем.
Всякому по делам, каждому от щедрот.
Плачет Мария. Кажется, Бога нет.

Плачет Мария, слёзы её текут.
Плачет Мария, слёзы её — река.
Время её течёт, капли её минут.
Он подставляет рот, ждёт.

Сохнет земля, трескается земля.
Плачет Мария, если хоть кто-то жив.
Завтра придётся всё начинать с нуля,
Чтобы простил этих её чужих.

КОНЧИТА

Для спасенья страны не надо больших усилий —
Год от года она спасается неуклонно.
Каждый третий жаждет спасти Россию,
Но при этом бросает бычки с балкона.

Мир прекрасен. Мой регион прекрасен,
Кто бы что про него невзначай ни фыркал.
(Деревянный зелёный сортир на трассе.
Кто-то снова мочится мимо дырки.)

Но Кончита ужасней. Надо мочить Кончиту,
Чтоб она не стала примером и эталоном.
Каждый, сука, третий у нас учитель.
Снова чей-то окурок летит с балкона.

ПИАНИСТ ИЗ ТИПИКАНЫ

Убегу я с этим пианистом из Типиканы,
И плевать, что пианист меня не достоин.
У меня в голове огромные тараканы,
Описторхи, гонококки и всё такое.

У меня в голове, разумеется, сдвиг по фазе —
Эти сдвиги очевидны всякому не кретину:
Ни с того ни с сего хочу, чтоб хотя бы разик
Мне сыграл бы кто-нибудь на пианино.

И плевать, что вообще-то я не такая.
И плевать на то, что плевать низко.
Убегу я с этим пианистом из Типиканы.
Очень мне сегодня нравятся пианисты.

Дарья Верясова

ДАЧА В ПЕРЕДЕЛКИНО

1.

Где расслышишь: вдали электричка поёт,
 Пассажиров уснувших качает —
 Жили мы и неделю, и месяц, и год
 На вине, сигаретах и чае.

А снаружи шарахался запертый день,
 А по снегу картавила поступь.
 Доживали на хлебе и на воде
 И неделю, и месяц, и после.

Хлеб черствел на столе, высыхала вода,
 Между снами неслась и снегами
 Электричка куда-то, куда-то, куда —
 И по ней кочевали цыгане.

2.

В окна сквозило, качались шторы.
 Время шло к четырём.
 Газ зажигали, согреться чтобы
 Синим его огнём.

И в полудрёме не замечали,
 Как подбиралось пять,
 Как, задевая друг друга плечами,
 Мы отправлялись спать.

И в тишине трещали обои,
 Ветер в щели гудел.
 И понемногу для нас обоих
 Не начинался день.

3.

Обжитых и пустых
Домов ряды, и вот
Там, где ж/д пути,—
Налево поворот.

Проволочил состав
Плацкартные огни,
И встали у моста
Часовня и родник.

Откос береговой,
Деревья на краю.
И утки с головой
Ныряют в полынью.

А снег хранит следы,
И долго ветру петь,
Когда из нас один
Уходит по тропе.

И люлькой золотой
Качается звезда,
Ведущая домой
Электропоезда.

КИЕВ

А над площадью день полощется,
Чёрный дым висит полотном.
И разносится звон по площади —
Разбивает брусчатку лом.

И хранят до поры до времени
Немоту языки церквей.
В этот день у города древнего
Поубавится сыновей.

Перетрёт закопчёнными стенами,
Под колёсами зажуёт
Или кончится огнестрельными
В шею, в голову и в живот.

И выходит: обязательно
Всем достанется постареть.
Мы останемся здесь и затемно —
Заночуем на пустыре.

* * *

Мне каждый день даётся тем трудней,
Что в жизни — от макушки до корней —
Я проросла бессмысленно и криво.
Но видит Бог: не злы мои дела,
Что там, внутри, где музыка плыла,
Всё тишина — как плесенью — покрыла.

И оттого ли, что она — во мне,
Я знаю: мне придётся онеметь,
Когда себя, как книгу, пролистаю,
Но всякой рыбе Бог раскроет рот,
Но над землёю музыка взойдёт —
Серебряная, жгучая, простая!

КРАПИВА

I.

Родители выпили пиво,
Тягучие песни допели.
Наш двор зарастал крапивой,
Был цепок и густ репейник.

За гаражом горелым
Мы, затаясь, неловко
Пробовали сигареты,
Кукол зажав под локти.

А на пустырь за рынком
Доволочили еле
И с почестями зарыли
Сбитого спаниеля.

Был долгий наш путь разоткан
Стеклом, бетоном и сталью.
Сестра выростала красоткой,
Я — дурочкой выростала.

Да было ли, было ли это:
Что посланный вверх с размаха
Волан прицепился к ветке
И обернулся птахой?

Как жирно пахнет сметаной
Сожжённая в полдень кожа,
И шмель над травами тянет:
«Я тоже живу, я тоже...»

2.

По-английски пред самоваром...

А. С. Пушкин

По-английски пред самоваром
Посуды фарфоровый ряд.
Кольшутся осы по парам,
И банки с вареньем стоят.

Скрипит деревянное тело
Веранды, шаманят кусты.
Мне скучно, мне осточертело
Пить чай и беседы вести.

Последние проблески лета
Затем горячее и злей,
Что сливы — зелёного цвета
И что виноград не дозрел.

Я вижу предельно, с изнанки,
И дом, и веранду, и сад.
Гудит погребённая в банке
С вишнёвым вареньем оса.

Собака сдирает ошейник,
И цепь волочится за ней,
И нет ничего совершенней
Бессмысленной жизни моей.

3.

В лесу крапива хороводила,
Мне ноги обожгла.
Я путь держала за смородиной,
Я за малиной шла.

Ах, ягод красные и синие
Разводы возле рта!
Я видела гнездо осиное
И мёртвого крота.

В овраге жар парил над сыростью.
И кто б сказал теперь,
Когда трава успела вырасти,
Когда зацвёл репей,

Какую землю я наследую
И до какой поры
Шагает рядышком бессмертие,
Качается полынь?

РОДИНА

1.

...И мать моя, хабалка, бабий шик,
Погрязла в телесах своих больших.
Теперь воруй, разменивай, круши!
Я здесь стою, а больше — ни души.

...И мать моя — мелисса и полынь,
Зелёный клоп, щелястые полы,
Калеки-куклы, вой собак по ним
И вермишель с блинами на помин.

...И мать моя, глядящая с крыльца
Таким лицом, как будто нет лица.

2.

Мы кутерьму с кутьёй перемешали,
Мы скопом угодили в переплёт.
Вот правда наша — гнусная, большая:
Страна нам — горб, страна — беззубый рот.

Куда бежать, в какие царства деться,
Когда сама — и дармоед, и плут?..
Моей страны обманутое детство
Когда-нибудь эпохой назовут.

* * *

Вечер мой, бесталанный мой,
Закалякай пути домой,
И, о стакан звеня,
Ты нарисуй меня
В самом убогом виде,
Двери размажь и вытри,
Чтоб ни зайти, ни выйти.

Белой кистью в одном мазке
Проведи меня по Москве,
Кляксами ставь огни.
Выше земли толкни —
Чтоб разлетелась гулом,
Чтоб на бульваре хмуром
Тополь захолонуло...

* * *

Когда-нибудь, неповторимый мой,
Потянет в землю, повлечёт домой
Громоздким телом, смутными стихами.
Но прежде чем проститься на века,
Целую голос твой издалека,
Беспечные слова твои вдыхаю.

Я рассказать хочу тебе о том,
Как дерево за утренним окном
Качалось, вздрагивало, свиристело.
Когда-нибудь — запомни, запиши! —
Освободишься от моей души,
С душою вместе выскочив из тела.

Когда-нибудь останемся вдвоём,
Где тёплый дом, и сад, и водоём,
Где ткут, пекут и горбятся над плугом,
Где виноград хранит дверной проём.
И смерть умрём, и жизнь переживём,
И даже не посмотрим друг на друга.

Когда-нибудь откроется и нам:
Все рыбы ускользнули в океан,
Все самолёты улетели в небо,
А мы живём — рассудку вопреки,
В загаженный поток Москва-реки
Бессмысленно закидывая невод.

* * *

Морось на небе. Мороком —
Утренний неуют.
Ночь выметают дворники
И по мешкам суют.

Это сентябрь состарился:
Морщится и гудит.
Сколько ещё осталось мне
Спать на его груди?

Стану седой, осиплюю —
Было б ему теплей!
Снег за окном посыпался.
Я не умру теперь.

Николай Ерёмин

СУДЬБА

Судьба меня упрягала в Сибирь —
 Подальше
 От бунтующих столиц...

Чтоб я сказал:

—Какая даль и ширь
 И воля для перемещённых лиц!

Провинция. Покой.

Недаром тут

Вдруг понимаешь, как бессмыслен бунт.

У ХРАМА

В НИЖНЕМ ИНГАСЕ

Под музыку,
 Звучащую
 Неведомо откуда,

Над храмом —

В солнце — голуби

Порхают — эко чудо!

И хочется

Стать голубем,

Чтоб — в сердце благодать —

Свободно,

Точно ангел,

Над храмом полетать...

А Прохоров Серёга

Качает головой:

—О чём твоя тревога?

У всех одна дорога...

Эх, погоди немного —

И полетим, друг мой...

ЯНВАРСКАЯ СКАЗКА

Вдали от моря
И от кораблей,
От долларов, от евро, от рублей...

Увы, живу
В заснеженной тайге,
Доверив жизнь свою Бабе Яге,

Которая —
Нижайший ей поклон —
Из табуретки гонит самогон...

Горит ли, нет ли?
Пробует на блюде...
И не даёт мне, лешему, загнуться...

И просит,
Разделяя с нею сны,
Дожить, увы, хотя бы до весны...

А за окошком —
Страж небес и недр —
Среди сугробов замер древний кедр,

Достойный выживания пример, —
И гонит прочь
Приснившихся химер...

И я дышу морозом вместе с ним —
Луной
И хвойным запахом храним...

СНЕЖНАЯ СКАЗКА

Лес
Красно-жёлтой мозаикой
Светит на том берегу...

Зайцы
За речкой Базаихой
Пляшут гопака на снегу...

Славный морозный денёк!
А над водою
Снежинками,

Как кружевами-пружинками,
Балуется
Ветерок...

САД В ОКТЯБРЕ

Снова осень закончила бег.
Обрываются яблоки
В снег...

Их не хочет никто собирать,
Все в округе ушли воевать,
Чтобы жизнь олигархам отдать,
Позабыв про любимую мать...

Сторож бдит...
Он не знает, как быть:
Сторожить или не сторожить?

Заготовил две бочки вина,
И душа —
Днём и ночью пьяна —

Ждёт:
Быть может,
Живой, без вины,
Кто-нибудь и вернётся с войны?

Как там нынче живётся
В Крыму?
Ох, не хочется пить одному!

Никого возле старых ворот...
Ну а снег всё идёт
И идёт...

ЛОДКИ НА БЕРЕГУ

На берегу,
Где много лодок
И все просмолены бока,—

Я вспомнил вдруг,
Что век корóток,
А жизнь подавно коротка...

Что лодки все —
Наперечёт,
А Енисей течёт, течёт
Среди веков, и лет, и дней...

И нет средь них —
Одной,
Моей...

СТАРЫЙ ПСИХИАТР

Эдуарду Русакову

Настали времена иные...
И что я вижу, ум ценя?
Вокруг — одни психобольные!
И все — лечились у меня...

Я молод был тогда и в силе:
Когда они с ума сходили,
Куда идти, я их учил...
Но никого не долечил...

И надо ж этому случиться!
Но, рад и другу, и врагу,
Лечить и самому лечиться
Я так, как раньше, не могу...

И в настроении минорном,
У всех начальников в чести,
Я, чувствуя себя виновным,
Шепчу: — О Господи, прости!

СТАРЫЙ ТЕПЛОХОД

Над пасмурным простором Енисея —
Хмельное безысходное веселье...

И всё ж плывёт наш старый теплоход
На север и на юг — из года в год...

Бухающий не ведает народ,
Что теплоход развалится вот-вот...

И неспроста: не то чтоб слишком пьян,
Но под хмельком усталый капитан...

* * *

Русь!
Россия!
Клятвы и обеты...
И в Сибирь кандалная дорога...

Отчего
Спиваются
Поэты?
Оттого, что всюду — безнадёга...

* * *

Уж мне не пить из Енисея,
Увы, отравленной воды...
И не испытывать веселья,
Мечтая скрыться от беды...
И не уплыть, не улететь,
Смакуя, что случится впредь
Там, посреди страны иной —
Счастливой Шамбалы родной...

СИБИРСКАЯ ПЕСЕНКА

Я — сибирский певец,
На гитаре игрец,
Удалой удалец,
Молодой молодец...
О Сибирь-бирь-бирь-бирь!
Глушь родная и ширь —
Ангара, Енисей,
Сто подруг, сто друзей...
Отзовитесь! Эгей!
Кто займёт сто рублей?
Эх, замолкла струна,
А в ответ — тишина...

Михаил Мельниченко

КРАЙ

Прокатиться в метро от Дудинки до Тикси,
А потом на такси закатиться на Диксон,
Где, не ведая лени, не требуя денег за труд,
Меж домов-небоскрёбов эвенки оленей пасут...

И куда бы ни вывела жизни кривая,
Я в себя не поверю — без тайги и травы:
Подарите мне глобус Красноярского края,
Где внизу у подставки — столица Тувы!

* * *

Мой друг — простой советский кибернетик
с огромною крестьянскою душой —
устал от математик-арифметик
и захотел податься на покой.

Уехать в Путораны-горы
и год, как Торо, провести в лесу.
Увидеть севера просторы,
увидеть дикую красу.

Он так хотел — но, Боже правый,
он никуда не улетал.
Стояли здания направо,
налево — тоже дом стоял.

«Нас выкрал город у природы», —
так думал он из года в год.
Стояли тихие погоды,
на Путоранах таял лёд.

Мой друг, мой бедный кибернетик, —
он не уехал никуда.
Ведь он не практик — теоретик.
И в этом вся его беда.

ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ

Вот утка в разбег по воде и — полёт...
Вот так же уходит в полёт самолёт.
Но утка — она самолёта ловчей:
Пловец, и подводник, и лётчик — всё в ней.

Оляпка ныряла, оляпка ныряла,
Как будто на дне она что-то теряла.
Ныряла с разбега и вниз головой...
Что ищет она под холодной водой?

Гуси в небе летят и галдят, и галдят...
Гуси северный дом покидают,
А потом, бросив юг, неожиданно вдруг
Вновь на север они прилетают.

Дятел долбит, дятел долбит,
Головой работает.
Он не просто дыры долбит,
Заодно и лопает.

Коршун в небе парит, коршун с неба глядит.
Всё он видит и всё понимает.
А когда с высоты свою жертву узрит —
Камнем падает и попадает.

Синица летела, синица летела,
И видит синица: открытая дверь.
Она залетела, такое вот дело,
И так до сих пор там летает, поверь.

* * *

Зима в Сибири — больше чем зима.
Зима в Сибири — супервремя года.
Зимою отдыхает вся природа,
И люди отдыхают, и дома.

Зима в Сибири — больше чем зима!
Зимою отдыхает весь народ,
Зимою лучший праздник — Новый год!
Зимой деревья — словно терема.

Зима в Сибири — больше чем зима!

Путники

1.

Мы вышли на Гутарский водопад.
сюда ходили только тофалары,
теперь французы, немцы, и мадьяры,
и прочий швед сюда попасть бы рад,
настоль красив и мощен водопад.

Здесь падают впопад и невпопад
большой воды сплошные кубометры,
а под ногами пропадают метры,
и всё не так, и всё на новый лад...
Жаль покидать Гутарский водопад.

Зачем идут в медвежий этот угол?
Одни идут, чтоб выйти на Кизир,
другие — чуть южнее — на Казыр,
а третьи — через озеро — на Агул,
но мы хитрей, мы повернём на Тагул.

Точней, не повернём, а поплывём.
Нам с водопада уходить пора,
нас понесёт Гутара-Гутара —
стремительный и мощный водоём,
а дальше — в Тагул, Тагулом пойдём.

Но в сердце вечно будет уголок,
где сохранится водопада вал,
и Федосеева далёкий перевал,
и тофаларский вьедливый дымок...
Да, Тофалария — прекрасный уголок!

2.

От Верхних Гутар и до Нижних Гутар
мы выпили б чая большой самовар,
да мы самовара не взяли с собой,
но сыты не только сырою водой.

В походном готовим мы чай котелке,
сюда ведь приехали мы налегке,
вот скоро Гутару мы речку пройдем
и дальше по Тагулу вниз поплывём.

Хоть плавает, как говорится, оно,
а водники ходят, ходить им дано,
по камням, буранам, волнам, валунам:
сегодня мы здесь, ну а завтра мы там!

* * *

Дождь в верховьях Кизира, дождь,
Не такой затяжной, как в Макондо.
На кого же теперь я похож?
Ну конечно, не на Джеймса Бонда!

На промокшего насквозь туриста
И на мокрую курицу тож,
Я обсохну не скоро, не быстро.
Нет, на курицу я не похож!

Между нами, мужиками:
Весь промок я с потрохами,
Но на мокрую курицу я
Не похож... потому что петух.

Но кричать не могу «ку-ка-ре-ку»,
Чтобы не разозлить эту реку,
Своенравную эту реку,
Лучше сделаю три раза «ку».

Кин-дза-дза, Кин-дза-дза, Кин-дза-дза...
И Кизир заберёт дождь назад,
И появится в тучах оконце,
Сквозь которое ввалится солнце.

* * *

В восторге, в эйфории и в отпаде
Стою на Кинзелюкском водопаде,
А подо мной грохочет Кинзелюк
И издаёт прозрачный зычный звук.

Вода бурлит, бушует тут и там...
И брызги с солнцем пополам!
И шум, и гам, и гам, и шум —
Такой вокруг шурум-бурум!

Совсем не шум, а гаммы — звук.
Играет фуги Кинзелюк!
И сердце бьётся невпопад —
В груди клокочет водопад.

* * *

Поэты любят клёны да берёзы,
А иногда сосну да ель.
К «берёзе» в рифму ставят — «розы»,
А к «ель» — «метель» или «капель».

И я люблю, но я люблю не так,
Не общим выражением лица.
Мне дерево любимое — листвяг.
Мила мне лист-вен-ни-ца.

Её иголок с детства помню вкус,
И серы-жвачки длительное сено,
И плаху крепкую, и вечный брус,
И колкое, но жаркое полено.

О лиственнице что-то нет стихов.
Позанимали строчки все берёзы.
Листвяг — для настоящих мужиков,
Он их согреет в лютые морозы.

И для детей из девственной глубинки
Он серу даст — она вкусней резинки.

Светлана Ермолаева

* * *

Мы у Баха в гостях.
 Мы живые органные трубы.
 В нас вдохнули судьбу
 И поставили нас на крыло.
 Научили терпеть
 И сжимать побелевшие губы
 На такой высоте,
 Где мороз разрывает стекло.

Мы у Баха в гостях.
 Мы не ведаем, что натворили.
 Мы бормочем навзрыд
 Пустяковое, злое житьё.
 Замолчите, прошу.
 Задохнитесь от давящей пыли.
 Дайте Баху сказать,
 Дайте выплеснуть сердце своё.

Не останется времени.
 Вытечет насмерть в воронку:
 Только горстка песка
 И последний неведомый страх.
 А перо всё скрипит,
 Время пишет тебе похоронку.
 И проводит гостей,
 И помашет им крыльями Бах.

* * *

Стрижи бессмертны. Жизнь в полёте
Не знает смертной черноты.
Вы небо клювами берёте,
Возносите от ноты к ноте
И в небе чертите мосты.

Скользят стремительные дуги,
Бесстрашны росчерки крыла.
Мир опрокинулся упругий
Над кромкой острого угла.

По этим нитям невесомым —
Путь ангела и путь звезды.
Я назову однажды домом
Прожилки чёрной борозды.

И мне к бессмертию тянуться,
Ютась в воздушной колее,
Во сне заплакать и очнуться
Стрижом, стремящимся к земле.

* * *

Жить рядом с берёзовой рощей —
Удача. Шальные певцы
Так трелями горло полощут,
Что кажется: спрятаны в роще
Трещотки и бубенцы.

И каждое утро с балкона
Смотрю на удачу свою,
На лёгкие зыбкие кроны
И слушаю свисты и звоны
У времени на краю.

А времени будто не стало,
Оно утонуло внизу.
Балкон — как ступень пьедестала,
И сойка нам всем насвистала
Небесную бирюзу.

Она насвистала отраду —
Нежнейший берёзовый свет.
Достаточно вдоха и взгляда,
И вдох твой спасён, и разгадан,
И шелестом ветра пропет.

* * *

Зима. Дорога. Дальние огни.
Окно автобуса совсем заледенело.
Гони, водитель, смилуйся, гони,
Чтоб сердце отогрелось и звенело.

Какая тьма, как давит эта глушь,
Как сжато сердце коркой ледяною!
Гони, водитель, смилуйся, нарушь
Тоску, что спрятана за стылой тишиною.

Зима. Сибирь. Мелькают огоньки.
Как монотонна долгая дорога!
Водитель, вывези из давящей тоски,
Прибавь ещё, прибавь, за-ради Бога.

Туда, к весне, где чётче голоса,
Где всё звенит — и стёкла, и капли.
...Водитель, взлётная уходит полоса,
И мимо окон звёзды просвистели.

* * *

Молитвенно воздетыми ветвями,
Всей чернотой измученных стволов
Деревья разговаривают с нами,
Но мы не слышим музыки и слов.

Мелькаем торопливо и бездумно,
Махнув на всё пропащею рукой.
Вздыхают листья горестно и шумно,
Глядят на нас с доверчивой тоской.

Поговорить бы... Медленно и плавно,
Храня земную солнечную речь,
Поговорить о тайном и о главном,
Забывтый миг однажды подстеречь.

Как в зимнем звоне чётки силуэты,
Под серебром изгиб неповторим.
И жажда жизни, и стремленье к свету...
И ветви тянутся: поговорим.

О звёздах, об истоках мирозданья,
О мире для деревьев и людей.
Но странные безумные созданья
Мелькают меж домов и площадей.

* * *

За судьбой притаились и зимы, и вёрсты.
В рукаве у судьбы — запасные пути.
Хорошо, если скажут спокойно и просто:
«Оставайся, ещё погости».

У нелётной погоды — нечёткие сроки.
Погости — до погоста рукою подать.
Время льётся с небес и летит в водостоки,
Леденеет, а дальше — нельзя угадать.

Чья душа затаилась под грубой холстиной
И доверчиво просит ответа у звёзд?
А Хайям утверждал, что останется глиной,
И гончар возвратится на старый погост.

* * *

Пустыри — не пустое пространство.
Между досок, камней и трухи
Здесь живут, проявляя упрямство,
Одуванчики и лопухи.

Их зелёные мягкие крылья
Смотрят в небо, прижавшись к земле.
Так и я: небольшое усилие —
И взлечу, и качнусь на крыле.

Безрассудно сибирское лето,
Как удача и как волшебство.
Разлетится по белому свету
Одуванчиков лёгкое «О».

Серебристые эти овалы —
Как пришельцы нездешних миров.
Эта нежность меня волновала,
Прорастая на стыке ветров,

Прорастая и вновь улетаю,
Не страшась, что придут холода.
Я с тобою, прозрачная стая.
Мы уже не вернёмся сюда.

Алексей Карнаухов

Язык

А милей всего на свете
Овладевший с детства мной
Мудрый, сочный, многоцветный
Наш простой язык родной.

Вырос я в крестьянской гуте:
Для меня всегда велик
Торопливый и певучий
Приангарский наш язык.

Но не тот, который скучный,
Не спряженья, падежи,
А живой, ядрёный, звучный —
Отражение души.

Образным народным словом
Наслаждаемся не зря:
Поговорок и пословиц —
Половина словаря.

Ах, какая речь густая!
Не слова, а звень-цветы:
Будто жадными устами
Пьёшь живую воду ты.

Наш язык — то ветер вольный,
То старинный лук тугой.
Он и острый, с перцем, с солью,
И лукавый, и прямой.

В разговор простая баба
Так ввернёт свой оборот —
Хоть беги ты, хоть ты падай
Или стой, открывши рот.

Как любила, как жалела
Сердцу милое дитя:
«Мой сердешный! Свет ты белый!
Порошина ты моя!»

ОДНАЖДЫ ЗИМУСЯ

По Некрасову

- Я как-то зимуся шёл хлёстко из леса.
Туман, копотина — был хляшший мороз.
Почти что впритрут я, саженой за десять,
Увидел с дровами саженными воз.
- Гляжу, а навёршной — Петрунькиных Ванька.
— Откуля дрова-то такі? Не оттуль?
Он ажно запнулся, сказал мне: — Взглянь-кя!
Ослеп ты ли, чо ли,— не видишь откуль?
- Какэсь челядёнok. А видно сноровку.
Ты взаболь работник, как я погляжу.
Неужто один ты набухал столь дров-ту?
— Нет, тятя накладыват, я — отвожу.
- А чо ты не возишь со старшим-то братом?
— Он палес решил, как лучину шшепал.
В шшеле завизил, заревел лихоматом,
Ночесь на пече всё лежал, истывал.
- А чо оболокся в мороз легковато?
Ведь ты околешь и не думаешь нисколь!
Идешь голоушем, исподки дроваты...
— А чо я, перстятки надену ли, чо ль?
- Ну-ну, ты, я знаю, парнишка крепкушший.
Ты сдюжишь, пожалуй, мороз нагишом...
— Ты чо, одичал? Покурить бы дал лучше.
Вздохнул, почишал на говяш и пошёл.

УТРО

По Никитину

Дремлет чуткий камыш. Дрыхнут болозе все.
Ты идёшь по траве одинёхонек.
Куст заденешь плечом — лопатина в росе,
Люша-люшей ползёшь, весь мокрёхонек.

Потянула верховка. Бадумба рябит.
Пронеслися чирки, аж не верится.
Вон на изголове уж костришше дымит,
И на сендухе бабы шшаперятся.

Бабы морды несут, в лодке стырят, ревут.
А восток-от пылат, что те полымя.
Плишки солнышка ждут. На коровьем реву
Бабы чилькать коров в гребях поплыли.

Вот и солнце встаёт. Матерушшо глядит,
Эвон, бачь-ко, из ельника выплыло.
На глуху Матеру и на лывы, поди,
Как из туеса, золото вылило.

Едет пахарь с сохой. Всё ругат, круговой:
— Надоела вся жизнь, напрокучила.
Поведи тя лешак, унеси боровой.
Ой, чтоб ты раздуло, распучило!

— И докуль будешь ныть и канючить ты, ляд?
Принародно ишшо наипаче?
Ожабей! Жаба в рот тебе сядь!
Уходи, уезжай на собачей!

АНГАРСКИЙ ГОВОРОК

- Люблю язык свой! Нет ценней подарка,
чем услышать певучий говор наш.
Послушайте, как говорит ангарка,
старинной речи кежемской верна...
Возле крылечка детская коляска,
в неё глядится бабка, как в дуплё.
— Не спит, пестряк! — а в голосе-то ласка.—
Оно тут кто ли, чо ли, за валёж?
Невестушка слегла. Сосить не стала...
Болет натодель. Жалко её мне.
— Не бай! Ловконья бабочка, баская.
Мне глянется. Как така уж с ней?
— Грудь остудила — осень ведь. Упрямы —
ведь не оболочутся никовды!
Мне и самой не можется. Пью травы.
Сколь ни лечуся — нету леготы!
А чо поделашь, с ним водиться нады —
Уж с челядёнком будет сам? Мужик?..
Ой, девка, погляди-ка (вот досада):
опеть дитё голёхонькё лежит.
Я толькё те сказала: ты не бейся
(он всё толкует, даром что дитё),
не выпрягайся, дитя, не кобеньясь...
Он, сведумный, всё своё ведёт.
Ну, суета. А счас лежит как барин.
Опрудился, поди? О-о, лыва? Вишь?
Не совестно тебе: такой здоровый парень?
Ну чо, бакряк, нагрезил и молчишь?
Ага, заговорил! Чего лопочешь?
Держать тебя, сердешный, нелегко —
я вижу, что на ручки мои хочешь...
— Сколькё ему от роду-то?
— Сколькё?
Семь месяцев! Малой ишшо, не ходит.
А стенку у коляски вышибат.
У-у, отлевной!
— Он на кого находит?
— Он со шшеки на тятю пошибат.

Алексей Ерошин

Победитель краевого литературного конкурса
на соискание премии имени Игнатия
Рождественского в номинации «Поэзия»

НЕВОЗВРАЩЕНИЕ

Обезлюдел,
Опустел,
Отжил
Старый дом у безымянной речки.
Тёплый дух
Ушёл из русской печки —
Так уходит в землю
Кровь из жил.
Поутру
Потерянным щенком
Голосит в трубе продрогший ветер —
По траве росистой
На рассвете
Некому прошлёпать босиком.
Не разбудит внука по старинке
Звон молочных струек о ведро.
С лавки
Не прищурится хитро
Рыжий кот
На пенки в тёплой крынке.
Выстрелы пастушьего бича
Хлётким эхом
Не вернуться с луга.
Пёстрая пугливая пичуга
Не вспорхнёт на ставень, щебеча...
Зарастает в детство колея.
Видно, память стала слабовата...
Неужели
Я здесь был когда-то?
Был ли это я?
И был ли... я?..

ЧЁРНО-БЕЛОЕ КИНО

Водя смычком по голым нервам,
В окопе ныли комары.
Рванув ТТ из кобуры,
Старшой шагнул за бруствер первым.
Ах, как же было неохота —
Навстречу смерти
В двадцать лет,
Но ротный поднял пистолет
И заорал:
«Подъём, пехота!
Вперёд! За Родину! Ура-а!»
И отступила боль и жалость,
И льдистым комом что-то сжалось
Вдруг у четвёртого ребра.
Примкнув гранёные штыки,
Ощерясь яро-криворото,
Лавиной покати́лась рота
Со смертью наперегонки.
Земля избитая сыра,
На сапогах, наверно, тонны.
Разрывы, хрипы, крики, стоны.
«Вперёд! За Родину! Ура-а!»
Свистит свинец у головы.
Протяжно завывает мина.
Разрыв. Разрыв. И снова — мимо.
Огонь. Воронки. Лывы. Рвы.
«Вперёд! За Родину! Ура-а!»
Скрежешут танковые траки.
И жаждет каждый мускул драки,
И ярость хлещет из нутра.
«Вперёд! За Родину! Ура-а!»
В штыки, братва! Вот это дело!
Железо с хрустом входит в тело.
Вот-вот прогнётся немчура...
И вдруг внезапный выкрик:
«Снято!
Спасибо всем. Гасите свет.
Массовке можно в туалет.
Курите полчаса, ребята».

Уткнув разбитый нос в платок,
Сказал статист, игравший фрица:
«Эк надо было умудриться!
Ну ты и вжился в роль, браток...»

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

Блажен, кто свято верит в чудеса.
Он верил,
Терпеливо ждал во мгле, и
Двуногий бог
Из двери бакалеи
Вдруг
Снизосёл
До брошенного пса.
И обратились явью миражи,
И в снег упал хрустящий бок батона,
И баритон божественного тона
Великодушно произнёс:
«Держи...»
Божественная длань
Коснулась лба,
Потом
Прошла по-дружески
По холке,
И сердце пса
Рванулось на осколки,
И он подумал:
«Вот она, судьба!»
Не усомнившись,
Боже упаси,
Он без остатка отдал душу богу
И гордо шёл,
Счастливый,
С богом в ногу
До самого маршрутного такси.
Когда горчично-жёлтое авто
Умчало в ночь
Его собачье счастье,
Он рвал безмолвным воем
Тьму на части,
Но этот вой
Не услышал
Никто.

ХИМЕРА

Зима в Ливадии тепла.
В тиши,
Февральским утром сизым,
Хозяин
Наслаждался бризом,
На пять минут
Забыв
Дела.
Стоял у каменных перил,
В кругу
Охранного конвоя,
Глядел на море штормовое
И трубку
Чёрную
Курил.
Ему,
Мерилу всех мерил,
Своей не полагалось меры,
Но равнодушный взгляд Химеры
Его
Презрением дарил.
Нахально восседая рядом,
Она одна глядела —
Сквозь,
Вождя
Пронизывая взглядом,
Как доску — трёхдюймовый гвоздь.
Все те,
Вокруг,
Смотрели разно:
Боясь,
Восторженно
И зло,
И лишь она одна —
Бесстрастно,
Как сквозь оконное стекло.
Что ей вселенские напасти,
Что все властители,
Когда
Струится времени вода
Из глубины
Чугунной
Пасти?

Мелькают,
Суетно снуя,
Перед её колодцем лица,
Но так же
Продолжает литься
В пучину вечности
Струя.
И, как вода ни хороша,
Дано хозяину и гостю
Пригубить вечность
Только горстью:
Здесь нет ни кружки,
Ни ковша...

Зима в Ливадии тепла.
Шинель наброшена на плечи.
Хозяин ждёт начала встречи.
Прогулка кончена:
Дела.
Уинстон здесь,
И Франклин тоже:
Примчался, одолев хворобу.
Делить трофейную Европу
Ему опаздывать негоже.
Невозмутимый,
Как Аттила,
Вождь
Протянул в пространство руку
И вытряхнул
В колодец
Трубку.
И вечность
Пепел
Поглотила...

О ПРИРОДЕ НЕПОСТОЯНСТВА

Поговори со мной.
Поговори
Об импрессионизме
И погоде —
О том, что постоянства
Нет в природе,
В чём убеждают нас
Календари...

Моне.
Гуашь.
Прохладные тона.
Твой синий плащ.
Капель звенит морзянкой.
По площадям и улицам хозяйкой
Ступает запоздалая весна.
И рядышком вышагивает с ней,
Замысливая мокрые проказы,
Босой апрель,
Мальчишка ясноглазый,
Весёлый, вечно юный сорванец.
По гулким крышам
Шествуя победно,
Сметает
Снеговую шелуху
И солнца золотистый хула-хуп
По небу катит
Веточкою вербной...

Бумага.
Акварельный эпизод.
Июньским утром кисти Ренуара
Мы шлёпаем по краешку бульвара
И поцелуи прячем в мокрый зонт.
Отмытый город, ливнем напитавшись,
Кружит в трамвайном ритме болеро.
Мы два часа
Прощаемся в метро
И расстаёмся,
Так и не расставшись...

Этюд Сезанна.
Масло.
За окном
Слоится сумрак дымом желтоватым.
И мы с тобой опять бредём куда-то —
Не помню точно.
Кажется, в кино.
Умакивая кисть в осенний блюр,
Сентябрик-арлекин
С улыбкой мима
Играючи кладёт мазки кармина
На тротуар
В морщинках кракелюр...

Цветное фото.
Кодак.
Полутьма.
Тускнеют звёзды в тишине рассвета.
Поговори со мной...
И нет ответа:
В душе и в комнате —
Зима,
Зима,
Зима...

Захарчук Евгения

Победитель краевого литературного конкурса на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Поэзия» (среди авторов моложе 18 лет)

ЗА ОКНОМ ЧЕРНЕЕТ ВИХРЬ...

За окном чернеет вихрь,
И рыдают за окном,
И в окно стучатся лихо,
Стонут криком за стеклом
Неба мрачные раскаты,
Слёзы первые любви,
Арии поют гранаты,
Грома певчьи соловьи.

Видели Шекспира пьесы,
Стопкой лёжа на столе,
Будто пушкинские бесы
Промелькнули в этой мгле.
В стене бешеном резвились
И смеялись надо мной.
Беспорядочно носились,
Исчезая под землёй.

Я сажу, пью чай, болею.
Что же, тоже хороша —
Фантазёрка! Звонкой трелью
Всё терзается душа.
Увидала как-то раз:
При цилиндре и плаще
Наутилусовский князь,
Возродившийся кощей,
Сера тень в ночи глубокой,
Вдвое выше тополей,
Дышит немою тревогой
Царь безмолвья и теней.

На столе лежит скатёрка,
Белизной не режет глаз.
Книги тёртая обложка
Со стола глядит на нас.
Мы сидим, пьём чай, болеем,
Наблюдаем за грозой.
Потянулся за печеньем
Мой лирический герой.

Говорит он: «Отчего же
Ты замкнулась в глубине
Своих мыслей и, похоже,
Утонула, и на дне
Ты сидишь, пьёшь чай, болеешь,
Наблюдаешь за грозой?
Неужели не жалеешь
Ты ни мой, ни твой покой?»

А ведь там, в реальном мире,
Есть и смех, и бред, и страх.
В рифмах скрытые сатиры,
Украина в новостях...
Ты же спряталась, слабеешь,
Наблюдаешь за грозой,
Чёрный чай пьёшь да болеешь
И общаешься со мной».

За окном чернеет вихрь,
И рыдают за окном,
И в окно стучатся лихо,
Воют криком за стеклом
Мыслей чёрный рой пчелиный,
Затаённых дум буран,
Голос прежде соловьиный
Да души моей обман.

Пеплом раскинулись
Вширь и в длину снега,
Кровью не сыпались
Чудские берега,
Люду мерещится
Птица Сириин в жёлтых облаках.
Долго ли ждать врага?
Песня её страшней.
Где на шлемах рога?
Где стук копыт коней?
Что песне встретится,
То немедля обратится в прах.

К Богу стремясь, застыл,
Будет изгнанник, был,
Плача, стоит, молясь,
Наш новгородский князь.
Плещется красный свет,
В копьях шумит рассвет,
В стрелах и топорах
Чуется вещей страх!

Слышишь чужую речь?
Слышишь ли стройный ход?
Слышишь, тевтонский меч
В кровь обратил восход!
Лязг с топором мечей —
Эта песня мукой душу рвёт.
Там человек, и он
Пал наземь, не встаёт,
Сириин отравлен звон,
Горько она поёт!
Красный течёт ручей.
Знать бы, кто к победе доживёт.

Клича багряный сок
В жилах твоих потёк,
Ноет подбитый хрящ,
Красным стал красный плащ.
Сколь ни минуло лет,
Нет правды у легенд,
Треснуть не может лёд,
Гибнет простой народ!

Песню смертельную,
Сирин, ты утоли,
Краской кисельною
Очи не забели,
Нас на земле родной
Ожидают, думами томясь.
Понял, иду в капкан,
Понял, но не предам,
За Александров план
Жизнь я свою отдам,
Певчей души струной
К звёздам нежным звоном устремясь.

В битве бурлят полки,
Злые клинки крепки,
Сирин напев умолк,
Вышел засадный полк.
Тьмы смылась пелена,
Веются знамена,
Там, среди них, Христос
К небу глаза вознёс...

СОЛНЦЕ ВСТАЁТ В ТИШИНЕ

Ты знаешь, солнце встаёт в тишине,
Не слыша громких фанфар.
Танцует лучисто оно на окне,
А зорька — его гонорар.

Ты знаешь, солнце встаёт в тишине,
И утренний крик петухов
Услышать ему не дано и во сне,
В навек самом тихом из снов.

И там, где солнце встаёт в тишине,
Наверно, цветёт виноград.
И цвет его рдяный поёт по весне,
А осенью сыпется в сад.

Когда ты будешь опять во дворе
Ночами вдыхать горький дым,
Опомнись: солнце встаёт на заре!
Давай же с тобой помолчим.

ОШИБКА

Я давно паранойей страдаю,
Я давно здесь, на грани бумаги,
Я рисую трагедии стаю,
В людях ищу отголоски отваги.

Я давно провалилась в бездну,
И давно я от вас жду подмоги,
Я боюсь, что не выдержу, тресну,
В людях ищу мне отсюда дорогу.

Я забыла про силу улыбки,
Я сижу под дождём слишком долго,
Я давно допустила ошибку:
В людях ищу я замену для Бога.

ГРОМ

По песку, по мостовой,
По траве, по тротуарам,
По сиреневым бульварам
Бежит девочка с ведром
Босиком.

Дождь бежит по мостовой,
По траве, по тротуарам,
По сиреневым бульварам,
Ну а девочка с ведром —
Под дождём.

Грохот слышит мостовая,
И трава, и тротуары,
И цветущие бульвары,
Капли падают в ведро.
Это гром.

Александр Щербаков

А мы звали его Валей...

А мы звали его Валей...

Шли начальные шестидесятые. Хрущёвская «оттепель» чувствовалась и в жизни, и в искусстве, особенно — в литературе, поэзии. Модными были «молодёжные кафе», без «горячительных», но с жаркими дискуссиями на темы дня. Что-то подобное открылось и у нас в Канске, при красном уголке общежития текстильщиков. Мы, молодые поэты и прозаики из городского литобъединения, по очереди проводили там «творческие отчёты», а потом «отражали» их в местной газете. Однажды с подобным «отчётом» выступал и я, назвав его претенциозно-грустно «Пять лет около литературы». Пришли газетчики, культработники, мои коллеги — учителя.

И неожиданно заглянул на наше заседание... Валентин Распутин, приехавший в командировку от «Красноярского комсомольца», где он тогда работал корреспондентом. И не просто «заглянул». Скромно посидев в уголке и послушав мои стихи, рассказы и критические отзывы на них, тоже взял слово. Притом дал моим опытам в общем неплохую, а главное — серьёзную оценку и в конце речи предложил убрать девиз «отчёта» как унижающий достоинство автора, пожелав ему скорее сменить предлог «около» на «в». Кто-то из моих приятелей тут же сорвал злополучный плакат, и все, включая гостя, дружно захлопали.

С того литературного вечера мы с Валентином шли вместе и успели немного поговорить. Знаменитым он тогда ещё не был, но по ярким публикациям в «Комсомольце» его многие уже выделяли. Меня, помнится, поразила зарисовка о глухонемой скотнице, вполне «тянущая» на рассказ. И теперь, сказав Валентину об этом, я спросил, не думает ли он вплотную заняться художественной прозой. Валентин ответил доверительно, что уже собрал книжку рассказов. Видимо, речь шла о будущем «Человеке с этого света», изданном в Красноярске вслед за очерковым сборником «Костровые городов». Он посоветовал и мне смелее идти от газетных публикаций к книжке стихотворений.

Когда мы поравнялись с домом, где я жил в однокомнатной квартирке с женой и ребёнком, я по-провинциальному радушно предложил ему переночевать у нас, ибо уже стемнело, автобусы ходили плохо, а топать через Кан в гостиницу было далеко и небезопасно. Однако Валентин, поблагодарив за гостеприимство, твёрдо отклонил моё предложение. Я проводил его до моста. Мы расстались. И его

сутуловатая фигура в тёмном осеннем пальто и дымчатой шапке с опущенными «ушами» вскоре растаяла во мгле.

Примерно через год я переехал в Красноярск, стал работать на студии ТВ. Изредка видел Валентина, но потом с ним случилась беда. Его избили какие-то хулиганы, когда он ночью возвращался в общежитие «технолажки», где они с женой снимали комнату. Избили жестоко, так что пришлось делать операцию, после чего Валентин решил вернуться в родной Иркутск. Ну а через некоторое время все мы услышали о славной «иркутской стенке» молодых писателей во главе с ним...

Не задаваясь целью рассказать в этих коротких заметках-воспоминаниях обо всех «встречах» с Валентином Распутиным, остановлюсь вкратце на двух-трёх, которые были наиболее значимыми и для меня, и могут представлять интерес для читателей.

В 1974 году в Иркутске проходил семинар молодых писателей. Среди красноярских «семинаристов» были мы с Анатолием Третьяковым, уже не слишком «молодые» пииты. А Валентин Григорьевич, почти наш ровесник, которого мы по привычке называли Вале́й, вместе с Евгением Носовым и Виктором Астафьевым руководил семинаром прозы. Но, лишённый всякого зазнайства и высокомерия, он в перерывах не раз подходил к нам, беседовал, а однажды пригласил к себе пообедать. И вот там, в его квартире с окнами на Ангару, мы под великолепные щи, поданные его доброй женой Светланой, и под рюмочку, предложенную Вале́й (сам он отказался «принять», сославшись на бремя семинара), обстоятельно поговорили о жизни и литературе, в том числе красноярской. А на прощанье, естественно, оставили хозяину образцы своих шедевров. Не знаю, чем одарил Анато́ль, а я передал краткую повесть «Поют полозья по Руси». Валентин откликнулся на неё письмом, сдержанно похвалил, но посоветовал поискать «второй план», чтоб она не осталась «зарисовочной». Я прислушался, и повесть эта потом появлялась в московских журналах и моих книжках.

Запомнились встречи в начале нового века на съезде Союза писателей России, проходившем в Орле. Я тогда по просьбе коллег «правил» нашей писательской организацией, но совершенно не знал в лицо московских литературных начальников. В чём признался Валентину ещё по пути в Орёл, столкнувшись с ним на вокзале. И он тут же, взяв меня за локоть, подвёл к голове Союза Валерию Ганичеву, его замам и помощникам, и потом во все дни съезда они первыми почтительно подавали мне руку. Авторитет Валентина был высок и непререкаем. К слову, не всем известно, что он выступил на том съезде с болью о снижении качества нашей литературы, о непомерно раздувшемся Союзе в годы смуты за счёт любителей и дилетантов.

Ну а в 2009-м Валентин Григорьевич вдруг пригласил меня на яркий иркутский праздник русской духовности и культуры «Сияние

России», основателем и душой которого был на протяжении двух десятков лет. И мне довелось общаться с ним целую неделю на встречах с читателями, местными писателями, на приёмах у зама губернатора и министров. Но однажды он пожелал побеседовать со мною отдельно. Пришёл в штаб праздника, работавший в гостинице, пригласил меня, и мы проговорили с ним с глазу на глаз около часа. Я понимал, что его интересовала не столько моя персона, сколько жизнь города на Енисее, где начался его литературный путь. И я, как смог, постарался удовлетворить его любопытство, перебрав имена и судьбы общих приятелей и знакомых. Валентин просил передать всем поклонны, а мне подарил свой прекрасно изданный фолиант «Земля у Байкала» с тёплой надписью: «Саше Щербакову — дружески издавна и навсегда. Спасибо за приезд в Иркутск. В. Распутин. Окт. 2009»...

Вообще, красноярцы должны знать, что Валентин Распутин любил и всегда помнил наш город, наш край, несмотря на то что расстался с ними при столь драматических обстоятельствах. У него здесь было (да и осталось) много друзей и приятелей, читателей и верных почитателей. К примеру, мне довелось когда-то поработать в книжном издательстве, куда перекочевали бывшие сотрудницы Распутина по «Комсомольцу» — Маргарита Николаева, Лиля Моисеева, Римма Иванова. Так они не иначе, как только с обожанием, говорили о своём Вале, следили за каждым его шагом. Особенно преданной оставалась ему Маргарита Ивановна. Она до конца дней переписывалась с ним, отзывалась в печати на все его книги и крупные публикации даже в годы смуты, когда имя Распутина искусственно замалчивалось властями и СМИ. Точнее, особенно в эти годы. Именно тогда, теряя единомышленников в своём окружении, она стала часто звонить мне, чтобы сообщить новости о Валентине, его работах. И именно она, узнав, что её кумир затрудняется с названием своего последнего крупного произведения, где главная героиня так похожа на неё цельностью натуры, боевым характером, будучи сама дочерью Ивана и матерью сына Ивана, подсказала возможное заглавие. И он отвечал ей тем же, писал письма, высылал книги, журналы. И когда она ушла «с этого света», при встрече со мной расспрашивал о подробностях её ухода.

Да ведь и на своей любимой Ангаре он в последний раз побывал «со стороны» нашего города и края. Об этом снят подробный фильм. Бывший с ним в той поездке тогдашний ректор педуниверситета, в котором Распутина «короновали» почётным профессором, доктор истории Николай Дроздов также рассказывал мне, что Валентин Григорьевич не раз заводил разговор о красноярских писателях и отозвался даже обо мне, грешном, а как — я по скромности умолчу. Кому интересно, пусть спросят у профессора Дроздова.

Но всё же более, чем этим комплиментом, Валентин Распутин дорог мне уроками, которые он преподавал всем нам — и в литературе,

и в жизни. Я не сторонник спешной раздачи живым и мёртвым писателям таких эпитетов, как великий, гениальный. Но, думается, определение «классик» можно примерять к Распутину уже сегодня. Заслужил. Ибо твёрдо следовал классике — и в чистоте языка, и в строгости композиции произведений, а главное — в создании образов русских (и не только русских) людей. Кто-то сказал о Гоголе, что он вывел «целый зверинец типов». Вот и Распутин создал свой «зверинец» если не типов, то типических характеров. А это высший пилотаж в литературе.

Ну а жизненный урок его представляется ещё наглядней. Он показал, что при смене власти не обязательно растаптывать то, чему поклонялся, чтобы остаться «на плаву». Валентин Григорьевич сохранил верность себе и своему прошлому, прошёл через гонения и забвения и умер во славе, отпетый патриархом в главном храме России. И с цветами к его гробу явилось первое лицо государства, словно признав его правоту и победу. И похоронен он в главном монастыре на родине, где покоятся великие и святые люди Сибири. Так что «Со святыми упокой...» над ним звучало неспроста.

Капитолина Кокшенёва
Царский листвень

Каким свежим, полным сил, важных смыслов и решительных надежд был тот, 1988 год, когда я оказалась совсем рядом с Валентином Григорьевичем Распутиным. Мы шли в одном праздничном шествии через Волхов к древнему кремлю, мы сидели за общим «круглым столом», посвящённым вопросам современной русской литературы, мы выступали перед учителями и студентами, простыми горожанами — посадскими людьми.

В Великом Новгороде в третий раз (после Архангельска и Вологды) проводился «Праздник славянской культуры и письменности», сама возможность которого воспринималась русским культурным сообществом как большая духовная победа. Ещё бы, в 1986 году в СССР впервые 24 мая отмечалось 1100-летие преставления святого равноапостольного Мефодия! Среди литераторов стали всё чаще появляться особенные люди — в чёрных рясах и клобуках, к которым учились правильно обращаться, подбирая не просто должные слова, но и выискивая в своём голосе нужную почтительно-сердечную интонацию — интонацию большой Традиции, от которой были отлучены.

Мы тогда явились на праздник с Историко-этнографическим театром, в котором я выполняла работу помощника художественного руководителя по литературной части. Конечно, привезли спектакли, основанные на русской традиции — в основе которой лежало народное пение, и участвовали в культурной программе праздника всеми силами: артисты наши, только что выпорхнувшие из стен театрального училища имени М. Щепкина и специально обученные гениальным фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым, пели всегда и везде. Нас не надо было просить, чтобы огласить весь Посад широкой, мощной и торжественной песней «Ты взойди-взойди, солнце красное».

Курс этот был уникальным для театральной среды. Мария Евгеньевна Велихова, дочь прославленного артиста Малого театра, воспитывала их в таком поклонении русским писателям — Василию Белову, Валентину Распутину, Виктору Астафьеву, что, увидев их в Великом Новгороде вот так, рядом, сотоварищами по общему культурному делу, наши артисты испытали шок личного соприкосновения.

Нет, это был не нынешний культовый фанатизм. Это было что-то существенно иное: культурная советская среда была взорвана ими, «деревенщиками». Кто-то назвал их так, думая обидеть, а получилось

новое — и сильное именно «деревенщиной» — русское направление в советской литературе. Наш двадцатый век — трагичнейший в истории — в советский свой период дал такой силы литературу, что понять и осмыслить всей её многослойности и многосложности мы пока не можем. Как создавалась литература несколькими поколениями, так и думать о ней, исследовать её тоже будут несколько поколений уже двадцать первого века. Но ясно одно: литература, и классическая, и современная, сохраняла важнейшую функцию — она связывала, она прошивала тонкими невидимыми смысловыми токами отцов и детей. У них был общий культурный фундамент. А само литературное пространство делилось на три части: пространство официальное (где господствовал соцреализм), русское («деревенщиков», где были боль за русского человека и возвращение к устоям и обычаям отеческого образа жизни) и «подпольное» (тут было тоже всё неоднозначно: с одной стороны, в подполье жила «другая культура» авангардистов, а с другой стороны — так называемые «русисты», выпускавшие самиздатские журналы христианско-русского направления и сидевшие за это, как Леонид Бородин, в советских политических лагерях, или такие, как Н. Мальчевский-Ильин, печатавшие в «самиздате» статьи о русской философии).

Такого духовного подъёма, такого жадного соединения с русской историко-мыслительной традицией, такого всеобщего прорыва в большую русскую историю, за пределы 1917-го, я больше не знаю, чем были эти, конца восьмидесятых, годы уходящего «красного века». Русское национальное самосознание зародилось в недрах советского времени, и «деревенщики», и лично Валентин Распутин имели к этому движению непосредственное отношение. А мы? Мы росли им в ответ. Это были именно ответственные отношения и между литературными поколениями: нам хотелось встать с ними рядом, но за свой собственный счёт. За счёт личного труда и личного таланта. Мы не хотели, чтобы нас «подсаживали». Мы хотели честных и достойных отношений. Поэтому единственную публичную похвалу Распутина (высокую оценку меня как критика в интервью одной из газет) я теперь ношу как высокую награду.

Родился он в России мощной, где «зелёное море тайги» сопрягалось с силой Ангары и немислимой глубиной и чистотой Байкала. Он родился в Сибири (в селе Усть-Уда Иркутской области), а это многое даёт и ко многому обязывает. Конечно, нет никакого отдельного народа (как сейчас настаивают сепаратисты) по имени «сибиряк». Но сибирский характер при этом, конечно же, есть: пусть он несколько грубоват в сравнении с «нежной» столичной выправкой, пусть он несколько тяжеловат на вкус мягкотелого и сдобного какого-нибудь вятчика. Но зато прям, надёжен, верен до гроба, смел да силен под стать холодам да льдам и бескрайним просторам. Народ в Сибири подбирался долго:

русская история обтачивала характеры упрямо. То первопроходцев слали да казаков по царской воле, а то и каторжан-дворян, будто во искупление революционных замыслов трудившихся в Сибири таким истовым образом на благо просвещения, что, будем надеяться, и Господь принял их сибирское трудовое покаяние. Сибирь не знала крепостной зависимости, но и воля тут была особая: воля к труду, воля к земному крепкому обустройству,

Вот и Валентин Распутин оказался среди тех, кто взглянул на народ, в котором он жил, будто сквозь время, в глубь времён. И вытащил из закров истории такие смыслы, которые, оказывается, вполне можно было примерить и к современному ему крестьянину. И восстал крестьянский мир во всю свою высоту в его книгах, и пропел он: «Славься!» — русским деревенским старухам, и заговорил он о том, что человек не только винтик и колёсико социального механизма, не только принадлежит он к «классу рабочих и крестьян», но ещё и наследует отцам и праотцам, что лежат на деревенских погостах и, как в «Прощании с Матёрой», вопиют вместе с живыми о тех переменах, которые губительны для народа, когда сдёргивают с места, когда рубят его под корень.

Настоящую писательскую известность Распутину принесла повесть «Деньги для Марии» (1966). История проста: Мария, доверчивая и не искушённая в бухгалтерии продавщица сельской лавки, обвиняется в растрате более тысячи рублей (по тем временам для села — большие деньги). И муж её идёт к людям, ищет деньги, чтобы отдать этот долг без вины виноватой жены. Писатель уже тогда видел, что как только деньжонки завелись у народа, так не только благо они принесли. Муж Марии будто этими деньгами, что нужно отдать, оторвать от себя (и неизвестно, когда их вернут!), испытывает милосердие человеческое, совестливость: ведь Марию всем селом уговаривали встать на эту торговую должность, к которой в то время не сильно-то и охоту имели. И какие характеры писатель развернёт перед нами! Кульминацией станет момент общего схода, на который сзывают ударом по рельсу (церкви-то порушили!). Сход нужен потому, что не собрал муж Марии нужную сумму — где-то в народном теле поселилась эта червоточина жадности. На сходе-то и взыщет председатель, собственно, не деньги уже, а в душу призовет взглядеться. Каждому — в свою. По ком идёт звон над селом? По каждому, кто остался в стороне от беды Марии.

Повести «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» выходили друг за другом — 1970, 1974, 1976 годы. Писатель — на пике своей зрелости, своего мастерства, творческого дерзновения. Его много издают в России. Он по-настоящему известен всему народу русскому и в республиках СССР. Нет никакого сомнения, что он повлиял на творчество многих национальных писателей. Выросший из советской шинели, увидевший в человеке гораздо больше того,

чем требовали время и социум, он, тем не менее, был отмечен и государством. Государственные премии СССР ему были принуждены в 1977 и 1987 годах. Оппоненты, которых всегда было у писателя немало, считали, что книги Распутина переводятся на десятки языков мира только потому, что он показывает гибель русской деревни — сокрушённой и умирающей, с её последними «старинными старухами», с её последними, крепкой породы, людьми. Конечно, русский читатель так Распутина не читал. Как когда-то Московский Художественный театр возник в счастливый час русской истории и с невероятной быстротой был принят, понят и любим русской интеллигенцией, так и наши «деревенщики» — были поняты без каких-либо сложно-мудрых усилий постижения. Так — враз, с лёту — понимает душа своё. Родное, кровное, очень-очень созвучное тому, что живёт внутри и готово к отзывчивости.

Старуха Анна в «Последнем сроке» многим читателям казалась «прямо вылитой моей матерью» с её бесконечной любовью к детям, с её терпением, трудолюбием и прощением, пониманием и величием, с христианской душой. Тут, как говорил Борис Агеев (курский писатель), перед нами великая простота живой клетки. В ней уже заложена вся жизнь, вся будущая сила. Она — начало начал. Старуха «жила как выходило», «жила нехитро: рожала, работала, ненадолго падала перед новым днём в постель, снова вскакивала, — и всё это там же, где родилась, никуда не отлучаясь, как дерево в лесу, и справляя те же человеческие надобности, что и её мать». Только иногда ей удавалось оглядеться вокруг да «задержать в глазах и в душе красоту земли и неба». Анна — «справляла свою жизнь». Валентин Распутин не раз повторит этот глагол — «справлять»: в нём есть правота, правда, праведность и правильность, соединённые с волей человека. Вот потому он и *правит* свою жизнь — один, как Анна, «находится среди вечной жизни», не «переставая удивляться своему существованию» среди Вселенной, а другой ведёт её вкривь и вкось. Смерть матери для детей, собравшихся в родовом доме, и стала испытанием всей их жизни. Она умирает, а в них проявляется и что-то самое совестливое, главное, но и что-то уже накрепко утраченное, украденное в человеке городом.

Вообще, женские образы у Валентина Распутина потрясающи: вот и Настёна в «Живи и помни» тоже ведь простая деревенская молодуха, вышедшая замуж перед самой войной, но и в ней мощно и чисто звучит её огромное чувство ответственности за весь тот мир, что рядом с ней. Скрывая своего мужа-дезертира, она никогда не сможет быть счастлива только тем, что он жив. За то, что он живой вернулся домой, не выдержав до окончания войны, она заплатит самую большую цену: бросится, беременная, в реку. Она не смогла «угovorить» не болеть свою совесть.

Женщины, дающие жизнь и длящие род, в повестях Валентина Распутина и сами, каждая из них, как целая вселенная. Они слиты

с миром и родом, они типичны и индивидуальны. В «Прощании с Матёрой» писатель выведет целый ряд «старинных старух» — Дарью, Катерину, Наталью, Симу. Жизнь миром в старинной деревне, которая должна уйти под воду, для создания большого водохранилища, чтобы построить новую ГЭС, — жизнь миром и в мире для этих старух находится на самом краю. Вот-вот и их переселят из деревни с историей в несколько сот лет в новое место, а их Матёру затопят воды. И в этот драматический момент для деревни писатель погружает читателя в поэтический мир крестьянства: его глава о сенокосе — целая песня простому труду. Я и сама знаю, какое это необыкновенное ощущение жизни, какое это дивное диво — слаженное единение в труде, и какое это счастье — сенокос! Студенткой я всегда приезжала к родителям в Сибирь так, чтобы попасть на сенокосы (и на свой, но и с удовольствием ехала к добрым знакомцам родителей). Работа для всех любимых писателем старых деревенских женщин — это продолжение жизни, а жизнь длится для продолжения рода. Из рода в род. Из года в год совершался её божественный и трудовой круг. Метафора рода у писателя — это нитка с узелками на ней. Одни узелки с одного конца распускаются (умирают люди), зато на другом конце новые появляются (новые нарождаются). Распутинская Дарья хочет «полной правды» не только для себя: строители ГЭС, которых она наблюдает, вызывают у неё тяжёлые, почти трагические мысли, — она видит, как в детях исчезает что-то существенное, появляется странная забывчивость и беспамятность. Ей больно видеть, что люди стали жить неумно — «жить не оглядываясь», «облегчённо», будто щепки неразумные несутся по волнам житейского моря. «Пуп не надрываете, а душу потратили», — говорит Дарья своему бойкому племяннику. Они-то жили «работой совести», помимо тяжёлого своего крестьянского труда.

Имя Матёра, с которой прощаются и герои, и все мы, — снова звучит символично. Тут слышим мы: «мать» — «твердь» — «родина» — «земля». Матёра словно одна противостоит всему тому хаосу развороченной жизни, её запустению, истончению, разрушению, что надвигается вместе со строителями нового мира. Писатель говорит: «тьма пала» на Матёру, что звучит как акт мировой, апокалиптический, а не просто трагедия одной сибирской деревни, отданной на заклатие цивилизации. Земля и Цивилизация столкнулись здесь в почти библейской сшибке.

Валентин Распутин напишет ещё много прекрасных рассказов, создаст знаменитый «перестроечный» роман «Пожар», который тоже читала вся страна, сама подбирающаяся уже к своей гибели-пожару-сговору-расстрелу; напишет повесть «Дочь Ивана, мать Ивана», задолго до нынешних этнических конфликтов почувствовавшего тонким писательским нутром грядущие наши боли и тяжбы. Напишет

много отменных и умных статей, каждая из которых не только наполнена до краёв печально-русским смыслом, но и ободряет уже самой по себе красотой слова, которую Распутин может предьявить русскому читателю как меру подлинности. А наша мера подлинности состоит в том, что эстетика при определённых условиях становится непременно этичной. Не услышать подлинности слова Распутина, то есть слившимся в нём (слове) этики и эстетики, на мой взгляд, может только очень обделённый или очень одурманенный человек: *«Но когда звучит в тебе русское слово, издавека-далёко доносящее родство всех, кто творил его и им говорил; когда великим драгоценным закромом, никогда не убывающим и не теряющим сыта, содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете зная подлинную цену; когда плачет оно, это слово, горькими слезами уводимых в полон и обвязанных одной вереей многоверстовой колонны молодых русских женщин; когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников; когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготовляя такие речи, лучше которых нигде не сыскать, и как напитать душу ребёнка добром, и как утешить старость в усталости и печали,— когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой, напитанными родовой кровью,— вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времён оно само по себе непорушимая клятва и присяга. Есть оно — и всё остальное есть, а нет — и нечем будет закрепить самые искренние порывы».*

Такая русская речь как-то бодрит, поднимает очи к небу, и сам писатель, переживший так много большого и радостного, но очень много и горького, потерявший любимую дочь Марию (кровинушку свою, так близко-близко к сердцу его всегда расположенную), — сам писатель мне кажется тем «царским лиственем», который стоял посреди Матёры и держал, по преданию, своими корнями весь остров. Так и слово искреннее писательское какими-то последними усилиями удерживает нынче мир от безумия — у последней черты человечности.

Алексей Шорохов

О символизме в прощании с Распутиным

Валентин Распутин умер практически в самом начале объявленного Года литературы в России. Многие мрачно и даже с некоторым торжеством усмехнулись. Некоторые усмехнулись печатно.

Тем не менее, ничего случайного не бывает. В это многие веруют, а в России — так подавляющее большинство. Веруют по-разному, но все — в неслучайность.

Страшно произнести, но без смерти Валентина Григорьевича и сам Год литературы свёлся бы к нескольким серьёзным (или курьёзным, почин положен был, как мы помним) мероприятиям и распилу бюджетов разных уровней, тем более судорожному, что — кризис.

Но был в этой смерти, видимо, перст свыше. И мы услышали (и увидели) не только воспоминания о Распутине. Но и вообще разговор — о русской литературе, о месте писателя в обществе, и не как-нибудь там былинном обществе времён Александра Николаевича или Иосифа Виссарионовича, а в нашу эпоху «духовных скреп». Был ли Распутин «духовной скрепой»? Если верить телевизору, у нас «духовная скрепа» — Ургант. И ещё немножечко, по четвергам, Соловьёв. Распутин за последние лет двадцать и показали-то в телевизоре раз двадцать — и то со страхом: снимут поскорее — и давай от греха подалее, пока не наговорил правды какой.

И вдруг... первые лица государства, все телеканалы, всенародное (без иронии) прощание с великим писателем. Но ведь всенародное-то надо уметь организовать...

Валентин Григорьевич всегда умел приковывать внимание общества к самым важным темам: разрушению русской деревни («Прощание с Матёрой»), экологическому безумию самонадеянного человечества (поворот северных рек и загрязнение Байкала), нравственному и этническому насилию над русской жизнью («Дочь Ивана, мать Ивана»).

И даже самой своей смертью он сумел привлечь внимание. И, видимо, опять-таки к самой важной теме. Теме русской культуры (одним из самых известных брендов которой является русская литература).

...Я глубоко уверен, что место отпевания писателя было выбрано не случайно. Именно храм Христа Спасителя. Именно то место, где совсем недавно срамные девки отплясывали: мы здесь культура, мы здесь власть! И именно Распутин настаивал на суровом наказании за надругательство над святыней.

Его бездыханное тело, как освящённое русское слово, лежало как раз там, где они бесились.

Это и подчеркнул в надгробном слове совершавший отпевание предстоятель Русской православной церкви, святейший патриарх Кирилл. Он сказал просто. Что есть религия и антирелигия, есть культура и антикультура, и часто бывает, когда во времена антирелигии подлинную духовность людям даёт именно культура. А бывает, что культура и религия идут друг с другом в соработничестве. А ещё бывает, что религия окружена злобной и агрессивной антикультурой.

Распутин всей своей жизнью и всем своим творчеством противостоял и антирелигии, и антикультуре. И если мы хотим выжить в современном мире — и то, и другое зло должно изгоняться. Не только из храма, но и из официальной, государственной жизни. Об этом нам напомнил уже самой своей смертью Валентин Григорьевич Распутин. В самом начале празднования Года литературы в России.

Юрий Беликов, Мария Корякина-Астафьева
«Не у каждого жена Марья»

Эти записи относятся к июню 1992 года, когда по командировке от журнала «Юность» я отправился в Красноярск — к Виктору Петровичу Астафьеву. Но поскольку дорога к автору «Последнего поклона» и «Царь-рыбы» лежала через доглядливое сердце Марии Семёновны Корякиной, и к тому же, будучи урождённым чувовлянином, я не мог миновать урождённой чувовлянки по определению, то так оно и произошло: вначале я побывал в Академгородке, проведя разговор-разминку с Марией Семёновной, а уж на следующий день отправился в Овсянку — к Самому.

Итак, я залез в астафьевские тапочки, которые мне предложила внучка Полина (при этом заметил, как Марья Семёновна слегка покачала головой, но не будет же она меня из этих тапочек вынимать?), прошёл к столу, уставленному стряпнёй, окружившей бутылку с красным домашним вином, приготовленным по рецепту хозяйки квартиры.

Она давно уже живёт не на своей исторической родине — в Чусовом, куда после Великой Отечественной войны приехала со своим мужем-солдатом, а, напротив, на его исторической родине — в Красноярске, но сама как писательница Мария Семёновна начинала здесь, в Чусовом и Перми, где вышла в свет её первая повесть «Отец».

С той поры было опубликовано около двадцати книг Марии Корякиной, среди которых — «Липа вековая», «Надежда горькая, как дым», «Нужны трёхцветные кошки», «Земная память и печаль», «Знаки жизни». А кроме того, чувовляне, да и весь читающий мир, помнят и чтят Марию Семёновну (в простосердечии — Марью) как верную спутницу жизни Виктора Петровича, его «зрячий посох».

Известно, что Астафьев по этому поводу любил приводить поговорку из словаря Владимира Даля: «Не у каждого жена Марья, а кому Бог даст».

Вот она, его «лошадка» («Меня, психа контуженого, вынести?!»); «мегера» («Ну мегера я, мегера, а Витьку всё равно не разбужу!»); «первая удивлённая читательница» («Господи! Что в этой головушке-то деется?!»); «дьяволица» (она отправила дальней родственнице Виктора Петровича шесть гранёных стаканчиков в знак возмещения ущерба, нанесённого их визитом); «барометр его настроения» («Когда я болею, Витя работать не может: мечется и матерится»); «жрица жрецов» (в случае чего могла «поставить на место», будьте любезны, и Валентина Распутина, и Василия Белова); наконец, женщина, не

обделённая вниманием («Хоть татарское мыло — первые ещё цветочки — Витя опять, смотришь, принесёт: „Вот тебе, Маня!“»).

— *Мария Семёновна, есть по меньшей мере две байки насчёт того, какое влияние оказали друг на друга Виктор Петрович и Мария Семёновна. Первая: «Это всё Маня пишет, а не Витя». Вторая: «То, что пишет Маня, это пишет за неё Витя». Какова тут толика правды?*

— Когда я в очередной раз слышу: «Ей хорошо — за неё Виктор Петрович пишет!» — я всегда говорю, что это красивый комплимент. Как-то в Сибле, на Вологодчине, он ходил на охоту, простыл, и у него устали глаза. И тогда я ему чайные компрессы на веки положила и думаю: «Ну что уж я перед ним так-то сижусь?» Взяла и прочитала два своих рассказа. Он тогда компрессы снял, глаза открыл: «Ты, что ли, Маня, написала?» — «Я». Опять компрессы положил: «А ведь интересно!»

Иногда он спрашивал меня: «Говорят, у тебя, Маня, книжка вышла?» — «Вышла. Вить, почитал бы?» — «Положи мне на стол». Смотрю, лежит моя книжка на столе нераскрытой. Собираемся в Болгарию. Спрашиваю: «Ну как, прочитал?» — «Возьми с собой — я там прочту». Но он и там моей книги не прочитал! У него не было времени. У меня где-то тоже самолюбие есть. Сколько ж можно?!

Одно время я часто печаталась в «Литературной России». Приду в местный Союз писателей: «Ребята, я тут кой-чего написала — прочли бы?» — «Да ты что, Марь Семённа, у тебя под боком такой кит, а ты нас прочесть просишь!» Они не читают, потому что у меня «под боком такой кит», а мой кит — оттого что ему, видите ли, некогда! И так вот Маня варится в собственном соку...

— *Иными словами, трудно быть женой писателя с мировым именем?*

— Почти такой же вопрос однажды задали мне в «Артеке», где мы отдыхали с Виктором Петровичем. На одной из встреч слышу: «А мы хотим сейчас спросить не Виктора Петровича, а Марию Семёновну: легко ли быть женой писателя Астафьева?» Поскольку там было много юных девушек, я тогда сказала: «Женой ведь быть нелегко вообще — надо вести дом, приготовить еду, принять гостей, поддерживать беседу, быть в курсе всего. (Вот почему у меня на кухне всегда включено радио. Тут Виктор Петрович придёт, чего-то в журнале или в газетке открыжит: «Вот это, Маня, прочти...» Я это обязательно прочту.) А кроме того, — продолжила я, — надо же и бюджет семейный распределить, детей воспитывать, за собой последить. Поэтому женой писателя быть трудно».

Жившая в Чусовом тётя Тася, мамина сестра, удивительнейший человек (у нас была очень нежная и взаимная привязанность, и мы обычно не могли наговориться), как-то мне сказала: «Мария, я всё понимаю: тебе всех, конечно, трудней, но и интересней!» Это слова безграмотной, в общем-то, женщины.

Я ведь, Юра, знаю, что без меня литература прожила бы и, как видишь, проживает. Но то, что я пишу, это моё самоутверждение, потому что мне всегда хотелось до Виктора Петровича возвыситься, подняться до должного его отношения ко мне. И то, что он мне доверял читать, печатать и перепечатывать свои рукописи и к моему мнению всё-таки прислушивался, это о чём-то да говорит?

Конечно, мне бывало обидно, когда по поводу каких-то моих суждений он выдавал: «Нет, тут ты не права!» Ведь дельное же предлагала! Зато уж когда он скажет: «Вот тут ты права»,— тогда уж мне хочется сказать ему самое-самое!..

Помню, делала как-то уборку, нашла книжечку Юрия Кузнецова «Выходя на дорогу, душа оглянулась». Название-то, думаю, какое! Ах, Вити-то дома нету! Мы бы с ним уж поговорили!..

— *Рассказывают, что, читая рукописи Виктора Петровича, вы за него знаки препинания расставляли?*

— Лишь в тех случаях, когда у него на целую страницу могло быть ни одного знака препинания. У него всегда в тексте идёт сначала сказуемое, а потом подлежащее. И поэтому трудно, допустим, договориться с машинистками, не имевшими дел с перепечаткой литературных текстов: они обязательно начинали его править, то есть делать всё шиворот-навыворот, так что получалась абракадабра. Но вот у Вити такая манера. Я и сейчас печатаю так, как у него написано, поэтому он и читает с листа без запинки. Если бы я могла переставить слова, он бы, может, в этих местах споткнулся.

Лариса Васильева, будучи у нас в гостях, как-то мне сказала: «А ты знаешь, Маша, вы — пара-то уникальная! Ну найди ещё таких, чтобы муж и жена, что-то там создающие, жили бы столько лет вместе и не разбегались! Это — редкость».

Наверное, так уж сложилось в жизни. Я знала ведь его и дежурным по вокзалу, и когда он на колбасном заводе работал, и когда в «Чусовской рабочий» перешёл, где редактор, Пепеляев Григорий Иванович, считал, что Витя отдаёт мало сил газете, потому что копит остальные для творчества. Всякого знала. Если бы он тогда, с первого года нашей совместной жизни, начал писать, у нас бы, наверное, ничего не вышло. От нашей семьи, пожалуй, ничего бы не осталось, потому что я его не сразу приняла бы как писателя.

Мама моя, она нам не вредила, а только видит как-то в Чусовом, что Витя идёт с работы и несёт под мышкой метлу и лопату деревянную для уборки снега, мне и говорит: «Мария, путный-то мужик сам бы всё изладил!» Я — в ответ: «Ну вот сейчас он сядет за письменный стол и заработает на метлу и на лопату!»

И она с тех пор никогда нас не попрекала. И когда мы уже жили в Перми и Витя начал издаваться в столице, пожалуй, тогда в единственном числе из тамошних писателей, мама радовалась нашим радостям.

— «Тамошние» Виктору Петровичу не завидовали?

— Открыто — вроде нет. Ну, допустим, как мог завидовать Лёша Домнин? А зато Лёва Давыдычев, тот уж подковыривать любил, хотя ведь сам-то баринок был!.. В Вологде же, когда мы туда перебрались из Перми, многие писатели — и Саша Романов, и Оля Фокина, и Коля Рубцов, и Василий Иванович Белов — все издавались в Москве. И поэтому там никакой зависти быть не могло.

— *Говорят, что в основном вы подвигали Виктора Петровича к тому, чтобы он переписал уже написанное?*

— Нет. Совершенно нет. Это — он. Он работает до звона над текстом! Ну, за малым исключением. Скажем, «Коня с розовой гривой» он написал, как говорится, в один присест. Может быть, быстро написался рассказ «Ария Каварадосси». Но «Ясным ли днём» создавал очень долго. Более того, хотел написать рассказ «Цейлонский чай». И поскольку Витя столько раз, до того как сесть за письменный стол, этот рассказ пересказывал устно, в результате он его так и не написал. Ему и Женя Носов говорил: «Витька, ты не выбалтывай — пиши». А «Синие сумерки» тоже так вот рассказал, потом уехал в деревню, чтобы их написать, потом — звонок: умер критик Александр Николаевич Макаров. Витя — на похороны, утрата огромная. Поэтому писал мучительно и той изустной высоты, на которую рассказ первоначально поднимался, он достичь не смог.

Так что в том, что Виктор Петрович переписывает свои книги, никакой моей заслуги. Другое дело, я очень люблю у него повесть «Стародуб», которая мало кому известна. Вначале у него был рассказ на четырёх страницах. И я Витю не подталкивала, просто высказала своё впечатление. Прошло время — и эти четыре страницы сами переросли в повесть. Более того, забегаю вперёд, скажу, что когда он готовил четырёхтомное собрание сочинений, он перечитал «Стародуб» и сказал: «Ты знаешь, мне бы сейчас эту повесть не написать! Она вся — на воображении, на домысле». Поэтому если бы Виктор Петрович вздумал её переписывать, он бы, наверное, всё испортил, да и надобности в этом не было...

— *Но, скажем, «Пастуха и пастушку» он ведь переписал!*

— «Пастушку» переписал. Её я вначале вообще не приняла. Потом он её по ходу переделал — и вон она в какую повесть выстроилась! Зато «Царь-рыба»... Как-то мы идём вечером от знакомых, и я спрашиваю: «Витя, откуда к тебе пришло такое название — „Царь-рыба“?» Он говорит: «Сам не знаю». И дальше: «Маня, почему-то на „Пастушку“ мало пишут отзывов, а вот на „Царь-рыбу“ столько идёт!» Я ему говорю: «Витенька, ты ещё не ведаешь, что ты создал!» Он: «Ты — мужичка, ты ничего не понимаешь!»

Однако «Царь-рыбу» я всё-таки на первое место не ставлю. Ставлю «Затеси», «Стародуб», «Оду русскому огороду», «Последний поклон». Это — само собой, это не надо ставить в какой-то ряд. Это — книга жизни, его зазеркалье, то самое домашнее чтение, которое в России было издавна. Вот оно — с раздумьем, в тишине, вслух. И уже как продолжение «Затесей» — «Царь-рыба». И совершенно без восторга отношусь к «Печальному детективу»...

— Он романтичный человек в жизни?

— Вообще — да. Потому что если взять читателей, то ему больше всего пишут женщины...

— Мне рассказали такую забавную историю. Приезжает к Астафьевым в Вологду гость из Перми. Астафьевы собираются в театр. У гостя нет подходящей выходной сорочки. Виктор Петрович предлагает: «Надевай мою белую». Гость надевает, а рубашка — под запонки. Виктор Петрович вручает ему рубиновые запонки и предупреждает: «Смотри не потеряй: любимая женщина подарила!» Гость поворачивается к Марии Семёновне и восклицает: «Мария Семёновна, какой у вас вкус!» — «Это не у меня!» — голосом, исполненным мудрого всеведения, отвечает Мария Семёновна...

— Конечно, не у меня. Эти запонки Виктору Петровичу подарила Галина Михайловна Проскурякова, известный биолог, ведущая телепередачи «Мир растений». Когда его спрашивают: «Как вы относитесь к женщинам?» — он говорит: «Для меня тургеневский склад женщины ближе, дороже, ясней». Помню, приехали мы отдыхать в Ялту. Там — Маргарита Терехова. То, сё. Оказалась, собеседница-то не очень, язвительная. Зато Виктория Николаевна Иванова, которая потом у нас в доме много раз бывала, — певица удивительная. А мы в Ялте познакомились с её мужем — Юрием Петровичем Матусовым. «Да, — подтверждает он, — это моя жена». И звонит ей: «Ты сейчас чем занимаешься?» — «Да вот, — отвечает, — спать собираюсь с Астафьевым». — «Как с Астафьевым?!» — потешается муж. Оказывается, жена читает «Последний поклон» Астафьева. Муж: «А вот он рядом со мной стоит!» Виктория: «Правда, что ли? Так ты мне хоть скажи: какой он?» — «А чего описывать? Я трубку передам». А Витя её, кроме как пискухой, никак не называл. «Пискуха, что ли?»

В самом деле, у Виктории такой серебряный голос! И Виктор Петрович очень любит слушать песни в её исполнении. А ещё — цветочки у себя на огороде. И тут, в комнате. Уезжая, обычно наказывает: «Ты уж не забудь их полить-то». Приедет — видит, что они цветут. В землю ткнёт, а там полито. Когда мы жили в Быковке, он с охоты хоть татарское мыло — первые ещё цветочки — за пазухой под телогрейкой, хоть подснежники под полою (в Академгородке цветы рвать нельзя), смотришь, опять да принесёт: «Вот тебе, Маня!»

Он мог бы жениться на Шурке, а взял в жёны Марью. Шурка была фронтовой медсестрой, и он ей обязан своим неуходом в инобытие, под свод освобождённых энергий, когда уже этот свет, будто ковш экскаватора, выворачивал нутро в провал быстрорастущего в небо колодца, и тут Шурка поднесла к его лицу каких-то лесных ягод, и он клюнул на них с неохотой, как сонный окунишко на червячка, и его подсекло, растопырило перья и выволокло... Но если Шурка стала *отменой и возвратом*, то Марья — *сопровождением и посохом*.

Русский гороскоп имён трактует, что они прорастают своим звучанием друг в друга соразмерно инородным кристаллам. Если расцепить два женских имени на звуки и попробовать определить вектор их метафизического роста, мы получим: Шура — тишина, порядок, углублённость, обидчивость, внезапность; Мария — маета, душевное беспокойство, внезапность, обидчивость, ум, себялюбие.

Вычитаем сходное — обидчивость и внезапность, и берём плюсы-минусы — маету и душевное беспокойство против тишины и углублённости. Теперь пойдём по тропинке имени «Виктор»: «в» — мягко-сердечность, «и» — ум, склонный к размышлению, «к» — твёрдость, «т» — чувственность, «о» — открытость, «р» — обидчивость. Этому ломкому имени, где мягкосердечность переходит в размышляющий ум, подкреплённый твёрдостью, которая тут же размывается чувственностью да ещё открытостью, конечно же, необходимы зеркальное участие, сострадательная маета и душевное беспокойство, дабы опереться и опереться. Тишина и углублённость оказали бы здесь иное влияние. И неизвестно, стал ли бы при данном союзе имён В. П. писателем. А если бы и стал, то как бы у него развернулась судьба?

Я совершенно убеждён: когда бы у протопопа Аввакума не было Марковны, то, собственно, не состоялось бы его «Житие». «Долго ли нам ещё маяться?» — спрашивает Аввакума спутница. «Марковна, до самых до смерти!» — утверждает протопоп. И Марковна благословляет: «Добро, Петрович, ино ещё побредём». При другом ответе посох бы выпал из рук Аввакума.

Так и у Виктора с Марьей.

...Я оторвал её от перепечатки нового астафьевского романа «Прокляты и убиты» (ещё не прочитанного Россией и гудящего издалека, как эшелон, выползающий из багрового тоннеля его контуженого глаза. Вижу, как Марья стоит с жёлтым флажочком у голосящей будки, и флажочек её свёрнутый — восковая свеча во здравие. И дана эта свеча только ей, Марье, и никому более...

Красноярск — Пермь

Василий Авченко

«КУБ» рулит!

О литературном фестивале «Книга. Ум. Будущее»: взгляд с Дальнего Востока

Первая ассоциация с названием фестиваля (дальневосточнику простительно) — «Nissan Cube». Машинка не пафосная, не перехваленная, скромная — зато симпатичная, просторная и надёжная. В неё вместится много людей и книг — и фестиваль «КУБ» тоже вмещает немало и первых, и вторых. Причём это правильные люди и правильные книги.

Первое (и главное) ощущение от фестиваля: традиция большой сибирской литературы, начавшейся задолго до революции и продолжившейся в советское время, не прервана. Литература эта смотрится, как ни странно, единой, несмотря на разнообразие имён, тем, приёмов...

Фестиваль — не междусобойчик. Литература не живёт без читателя — и фестиваль занимался читателями не менее плотно, чем писателями. Не только приглашал к разговору читателей, так сказать, действующих — но рекрутировал новых. Это важно.

Особо запомнился двухдневный семинар, который провели Михаил Тарковский и Роман Сенчин для начинающих красноярских прозаиков. Желающих — много, интерес их получить совет мастера — огромен, потому и главная жалоба была — на дефицит времени. Уровень текстов был неровным (он и не мог быть ровным), но попадались настоящие жемчужины. Скажем, Роман Сенчин признался, что даже позавидовал названию «Русские как существительное» (Алексей Болотников, село Тесь Минусинского района).

Тот же Сенчин несколько не преувеличил, назвав Красноярск одной из литературных столиц России. Не всё должно происходить в Москве.

Это раньше Сибирь была периферией, территорией освоения, каторжным краем, убежищем староверов, местом, откуда нет выдачи... Теперь есть ощущение, что Сибирь-то и стала «настоящей» Россией — корневой, стержневой, сердцевинной. Сибирь — подводная часть нашего евразийского айсберга. Здесь не только хранятся, консервируются традиции народа — здесь возникает сама матрица русской жизни, влияющая так или иначе и на западное, и на восточное крылья страны.

Сибирь и есть — настоящая центральная Россия. Не случайно же появилась идея перенести в Южную Сибирь российскую столицу. Да она и сама уже потихонечку сюда переезжает. Сибирь живёт, дышит,

клокочет сокровенными тектоническими глубинами. Открытие Сибири продолжается.

Лучшая русская проза второй половины двадцатого века — проза сибирская, и это не случайно. Великие сибирские реки исправно вырабатывают необходимое человеческое электричество в миллионах духовных мегаватт. Литературная нефть, которая тоже есть в Сибири, для нас ещё важнее, чем обычная, углеводородная. Литература — вот наш национальный стратегический ресурс.

...«Nissan Cube» и многие его сородичи с правым — «правильным», как говорят на Дальнем Востоке, — рулём благополучно доехали из своей Японии до нашей Сибири. Прописались здесь, обрусели, вросли в землю, удобрив её своими прожжавевшими кузовами. Фестиваль «КУБ» — спасибо его организаторам — тоже рулит в правильном направлении. Пусть рулит дальше.

Мария Ватутина

Фронтальная тетрадь

Ярчайшим событием фестиваля стала поэзия Марии Ватутиной из Москвы. Предлагаем её стихи о Великой Отечественной войне.

Посвящается И. Г. Ливановой, в девичестве Балалыкиной

Моя бабушка отправилась на фронт семнадцатилетней, ей оставалось доучиться в школе последний год. Летом сорок первого она пошла за компанию с подругой в её районный военкомат, ту вызвали повесткой. Через час бабушка бежала домой проститься с матерью. Вскоре пропал без вести под Смоленском её отец. До войны он заведовал хозяйством у Туполева. Бабушка сначала ездила на санитарном поезде, в двух её вагонах перевозились тяжелораненные. Потом с медсанчастью прошла до Берлина пешком. После войны её звали петь в театр оперетты, но она осталась медсестрой. На послевоенных фотографиях она ослепительна, как какая-нибудь немецкая киноактриса, но совсем непохожа на ту круглолицую девочку, которую призвали на фронт со школьной скамьи.

Неожиданно я поняла, что эпизоды войны, вдруг всплывающие в памяти бабушки, меня удивляют своей свежестью и, что ли, художественностью. Война была для них бытом, юностью, годами жизни. А они были в этой войне — народом-победителем. Она рассказывает о первом, а я осознаю второе. Незаметно, а может, и заметно включаю диктофон на запись и подливаю ей чай.

Эхо от тиканья в красном углу.
За полночь. Скоро светает.
Кто там стучит изнутри по стеклу
Нашему? Кто его знает...

Кто Его знает, как пальцы свои,
Слов Его тысячестрофник?
Спи, это ветка. Смоковница и
Верба, олива, терновник.

I.

«Когда объявили войну, мы с ребятами стали обниматься от радости, кричали, что фрицев разобьём в три счёта, и пошли в кино».

Здесь, да особенно летом, да в полшестого,
Можно что хочешь, девочка, загадать.
Ибо становится материальным слово,
В смысле — реальным, словно отец и мать.

И наоборот, нереальным — действие,
Происходящее там, на краю земли,
Словно слова «священная» и «злодейство»
Только сегодня днём в обиход ввели.

Радуйся, «балычок», Балалыкина Ира:
Жизнь состоялась, коли не шутит враг.
После кино идём на спасенье мира,
Вечером — по домам. И да будет так.

2.

«Мать меня хотела сберечь как-то. Отец писал из-под Смоленска, что город сдавали и брали пять раз и следующий раз будет последний. „Всё может случиться. Береги детей. Следи за дочерью“».

Время ополченцев впредь не лечит
От войны, в них ниткою продетой.
С сотовым на новой будет легче,
Но его не выдумали к этой.

Немец отдыхает в воскресенье,
Город чёрный кое-где дымится.
Лишь на взгорке силуэт Успенья
Вытянулся к небу, словно птица.

«Дурость добровольческую выкинь.
Мы сидим по горло в красной глине.
Твой Григорий Палыч Балалыкин —
Никому неведомый отныне».

...То снежок пуховый в грядки ляжет,
То крестьянский сын межу распашет.
Да поднимет, словно гроб, пустую
Капсулку четвёртую, шестую.
«Как же сеять в землю эту?» — скажет.

На могиле красный ветер пляшет,
Словно пишет день и ночь домашним,
Как же он устал в бою вчерашнем.

3.

«Мне выдали в военкомате вещи: сапоги, шинель. Я принесла всё это домой и не знаю, куда спрятать. Спрятала за подушки. Мать пришла с работы (она как раз шила шинели), осунувшаяся, худая совсем. Я бросилась к ней и закричала: „Мама, у меня осталось только полтора часа, чтобы попрощаться с тобой!“ Она так опешила, что даже не плакала, только причитала: „Как, что?! Я к Калинину пойду!“»

Собрала бельё, кирзовые
Сапожищи на плечо
И серёжки бирюзовые:
Пофорсим ещё, а чё?

Из подъезда мама крикнула:
«Не пуцу»,— вдогонку мне.
Наше дело невеликое —
Завтра будем на войне.

На себе таскать солдатиков,
Чтобы пожили пока,
Нюхать у конфетных фантиков
Пустотелые бока,

Мужика, впервые, целого,
В смысле — голого, как лёд,
От ранений одурелого,
Наблюдать не в свой черёд.

Примелькается, как месяцы,
Промелькнёт, как города,
Эта — крошево и месиво —
Плоть мужская в три ряда.

И опять тащить от выстрелов
Грузных, мёртвых и живых,
Марли выстирав и выстрадав
Каждую кровинку их.

И о мёрзлый, и о слякотный
Животом тереться грунт,
Как о люд, о лёд тот лапотный,
Тот, что родиной зовут.

4.

«До Горького из Москвы шли пешком. По обочинам дорог, помню, лежали павшие лошади с вырезанными кусками мяса, что могли сгодиться на еду. Ребята так стирали ноги, что было страшно смотреть, приходилось оставлять их в деревнях. Когда можно было проколоть мозоли и идти дальше, они догоняли нас. Под Горьким, на сборном пункте в Кулебяках, собрались миллионы людей. Всех выкрикали по очереди и говорили, куда кто распределён.

Майор громко прочитал мою фамилию. Я тихо отозвалась. Он не услышал, повторил снова. Проехала машина, он опять не услышал. Снова прочёл по листку: „Балалыкина“. — „Я здесь“, — сказала я и выглянула из-под этого самого листка. Он опустил лист, наклонился надо мной и выдохнул: „Боже, куда же мне тебя девать?“»

В Нижнем улицы — московского разлива,
Повторение имён столичных древних,
Две великие реки...

Неторопливо

Формируют наши части при деревнях.

Что касается тех рек — вода живая
Или мёртвая — в какой из них какая —
Это знает только почта фронтовая
Да мудрёная Вторая мировая.

Что касается деревни — из Починок
Новгородского предместья вышел Павел
Балалыкин, и поэтому суглинок
Пахнет сладко, словно тесто кто поставил.

И в какую ни заходишь ты деревню,
Спит на полатах за печкой то ли прашур,
То ли староста приходский, на обедню
По привычке к старой церкви приходящий.

Мама, минули Кудыкину мы гору
И пришли — толпа голодных — в Кулебяки.
Нижний Новгород над Волгой в эту пору
Возвышался Карфагеном¹ в лунном мраке.

Миллионы человеческих личинок
На равнине собрались, как на ладони
У какого-нибудь Павла из Починок
На заоблачном небесном перегоне.

1. *Карфаген* — буквально «новый город».

5.

«Как-то наш санитарный эшелон должен был стоять в Москве. Не совсем в Москве, а на окраине, на какой-то сортировочной станции. Из эшелона нас не отпускали, конечно, но кто-то из начальников был отправлен в РЭП №33 (распределительный эвакуопункт) на Синичке (район за станцией метро «Авиамоторная», в сторону Лефортово.— М. В.), и я попросила позвонить, сообщить матери. И вот она всё это расстояние от Бакунинской до проспекта Мира и дальше шла пешком, чтобы увидеть меня».

Мария идёт по пустыне. Москва —
И правда пустыня. Мария жива
Лишь тем, что идёт по пустыне,
Метафорой стала отныне.

Мария идёт, переходит мосты,
Проходит посты и стальные кусты,
От голода силы иссякли.
А в небе висят дирижабли.

Тяжёлые ангелы, что на сноси,
Застыли меж схватками в небе Руси,
Дрейфуют над N-ской заставой
Орущею бабьей оравой.

И, странно похожа на Родину-мать
С плаката, Мария идёт, чтобы снять
Лопатки дробящую сыну
Дубовую ту крестовину.

Вагон санитарной «летучки». В окне
Двенадцать детей о библейском огне
Готовят состав для отправки.
Мария заснула на лавке.

6.

«Иногда по дороге в тыл наш санитарный проезжал родину кого-нибудь из раненых. Он — прыг-скок-тра-ля-ля, а я отвечаю. И меня высаживали, я обязана была его догонять и возвращать. Поезд мой уходит, а я остаюсь, иду и ловлю. И вместе потом догоняем наших на перекладных.

Однажды начальник состава военврач Никитский, настоящий русский интеллигент, из белых офицеров, высокий, стройный, хоть и пожилой, седой уже, пошёл выяснять, надолго ли стоянка. Мы с сестричками напросились с ним. А поезд взял и ушёл. Раненые остались без нас. Пока следующего ждали на вокзальчике, я на плече у этого Никитского заснула. Мне потом сказали, что он так и просидел, не только не шелохнувшись, но, казалось, что и не дыша.

Раненых сдавали в Ташкент и вообще в те края, они потом, когда наш эшелон в следующий раз мимо этих станций проезжал, выставляли нам на перрон мешки с урюком, яблоками... Чаше всего мои больные. Считали, где мои вагоны остановятся, и ставили. Машинист притормозит, мы скорее мешки затаскиваем, потом едим с ранеными всю дорогу. Такие благодарные, кричат с перрона: „Сестри-и-ичка И-и-ирочка!“

Вот какая у меня память странная, я ведь многих раненых в лицо помню, представляешь?»

Думаешь, память откажет к пенсии
И всё закончится тем же, чем начиналось,—
Белым листом бумаги?..

Пение

Помогает снимать усталость,
Но мешает забвению.
К старости обостряясь,
Память уподобляется приобретению
Детства и юности, переходящих в крайность.

И не только лица, фамилии и манеру речи —
Вспомнишь, не встающая даже на зов
Смерти, как укрывали плечи
Раненые, когда засыпала в конце концов
У печи, сделанной из железной бочки.
Вот такие фокусы обещает мозг.
А послепобедные беленькие листочки
Отдай дочке. Она нарисует мост.

7.

Когда сосед Золдман уезжал из своей восьмиметровой комнаты в эвакуацию, просил: «Марья Ильинична, возьмите что-нибудь, ведь пропадёт. Вот хотя бы библиотеку».

Мать взяла книги. Всё Полное собрание сочинений Ленина. Сказала: «Мне всё равно. У меня муж коммунист, а я из Москвы никуда не уйду».

Если бы немцы вошли в Москву и увидели эти книжки, расстреляли бы на месте.

А у Золдмана жену и дочь во время войны в концлагерь угнали.

Очерни моё прошлое.

Поиграй в игру.

Ты будешь чёртом,

а я ангелом на ветру.

Перекрась Вселенную в чёрно-красный цвет.

Я добавлю пёрышко — будет мне просвет.

Будет мне булавочное впору ушко,

Через мамку вылезу — близко ли, далеко.

А про бучи русские, про расстрельный двор

Попеняй курящим «Герцеговину Флор».

Пусть себе водят до скончанья лет.

Заберу пёрышко — дудки им «просвет».

А в моём прошлом

прадеды — мужики,

А прабабки — вовсе ворошиловские стрелки,

Их живые жизни, а не требуха,

Их победы, радости — они без греха.

Они тоже ангелы, если взять ДНК,

Если взять спящего за стеной сына,

Если взять землю — растереть в горсти,

Она тоже ангел, а поди возрасти.

А у неё крылья белые с континент

И безгрешный в описях контингент,

Ладушки-оладушки, полынья-полынья:

У тебя своя игра, у меня — своя.

8.

«А знаешь, почему в песне: „А до смерти четыре шага...“? Отхожее место рыли от окопа в четырёх шагах. И вот идёт бой, а солдату приспичило. И надо вылезти из этого окопа и пройти эти четыре шага...

Когда были бои под Харьковом, танки шли друг на друга, миллионы танков, и в самом городе такое творилось, что после из кранов не вода шла — человеческие кишки...

Возить этих обгорелых танкистов было страшно».

Будут хлеб и вода. Будет слово для счастья и боли.
Будут счастье и боль с остановкой в Орле и Осколе.

Будут дети детей, но, скорее всего, на равнине
Не останется нас, не останется нас и в помине.
Юных выскочек, нашего времени смертных героев,
Девятнадцатилетних погибших и выживших Ноев.

Нас не будет. Великие войны останутся в прошлом,
Не оскоминой, стало быть, школьным заданьем несложным.
Станет куцым абзацем период распада империй,
Сумасшествие целых народов, война артиллерий.

Не останется нас. Как дотлевшие танки с обочин,
Мы исчезнем, наш срок на четыре весны укорочен!
Мы смогли уцелеть во второй мировой переплавке,
И обычная смерть уже ждёт у подъезда на лавке.

Шустрый правнук и этого правнука дети и внуки —
Это наши улыбки, ужимки, победные звуки.
Всё останется течь по старинному вечному руслу.
Будет русская речь. И равнина останется русской.

9.

«Сначала от бомбёжки страшно, а потом привыкаешь ко всему. У нас была одна, которая всегда котелок на голову надевала при бомбёжке. Я и думаю: Господи, если конец, так как же, потом ведь и не снимется? А у меня подушечка была пуховая, вот такая маленькая, так я подушечкой этой голову накрывала.

А когда бомбят на марше, нужно ложиться сразу, сразу, понимаешь? Ну а я всегда стою и смотрю: Боже, какая грязь-то. Не могла я плюхаться в такую грязь, потом мне же и отмывать всю одежду. Старшина увидит это дело, кричит: „Когда ты меня будешь слушаться?!“ А я ему всегда говорила: „Когда ты мне юбку дашь вместо штанов?!“ Мы ведь и летом в этих ватных штанах ходили. Девчонки утопить обещали старшину за эти штаны. Подействовало, привёз он нам и военные юбки, и платья... Только ведь надевать нам их было некуда».

Как совиный глаз — по ночам луна,
А второй прищурен, того гляди
Приоткроется, и крылом война
Вновь накроет пасеку, что видна
Из окопа в самой твоей груди.

И взовьются сонмы свинцовых пчёл —
Хоть ныряй на дно при такой стрельбе.
Да, кругом поля; и уже зачёл
Этот бой авансом Господь тебе.

10.

«А когда бой закончится, обязательно наступает „перемирие“, чтобы забрать раненых с поля. Они своих берут, а мы своих берём. А уж во время боя или когда перемирия такого не объявляют, вот тогда и бегаем из воронки в воронку, из воронки в воронку. Найдёшь раненого — и неси как хочешь. Или сиди, жди мужской помощи, или собаку дрессированную с сладочкой, или сама на себе тащи, если раненый ходячий».

Время — сейсмической дрожи.
Время — портянки стирать.
Дай передышку им, Боже, —
Раненых с поля собрать.

Мёртвым другая бригада
Послана будет Тобой.
Слышишь мычащее стадо?
Это закончился бой.

Это — твои коммунары,
Это — твои драчуны.
Это — идут санитары
С той и с другой стороны.

Медленно, плавясь от жара,
Как пастухи по жнивью,
Это идут санитары
Делать работу Твою.

II.

«Подошли как-то раз к озеру. Разделись и залезли в воду. Купаемся и видим: слева покойник плавает, справа. Санитар один подслеповатый — все же убогие работали — при-смотрелся, отогнал трупы подальше, чтобы нам не так страшно было плавать. Тут мы купаемся, а там покойники».

В царстве мёртвых тоже бывает весна,
И Стикс выходит из берегов, и Лета.
Подслеповатый, как крот, старина
Харон не боится света,
Словно хочет ослепнуть вовсе. Выйдет на берег
И сидит сушит вёсла и топит лодки.
Хоть и грек, а холерик.
Но когда молодки
Прибегут купаться в одних рубашках казённых
С клеймом хозчасти,
Говорит резонно:
—Щастье.
Мойтесь, пригодится. Ничего не бойтесь, девахи.
Вам ещё детей рожать командирам.
Самоубийцу по зрению, ослепляют его рубахи,
Мокрые и прозрачные, как облака над миром.

«Да нет. Не такая там была обстановка. Они, паразиты, все меня звали „дочкой“. Я говорю: „Я тебе дам «дочка». Какая я вам «дочка»?»

Мне Дима Степанов из Мураново письма присылал. И какие это были письма! Мы хором с девчонками их читали. Он служил на самой передовой. „На снарядах,— говорил,— которые фашиста бьют, пишу: «За Ириночку!»“ А мама писала как будто на каком-то рулоне. Можно было чтение на несколько дней растягивать.

Дед старый... Весь был в крови спёкшейся, я его еле отмыла... Смотрим, на человека стал похож. И говорит: „Меня так и старуха моя не мыла...“»

Бинты в три захода стирала.
И чресла людские в крови
Живою водой обмывала.
Господь, помолчи о любви.

У нас развлеченья другие:
Читаем письмо за письмом
Всем миром. И здесь ностальгия
И ненависть ходят вдвоём.

Любовь — не мурашки по коже,
А шрифт на снаряде — туда.
Вот так мы их делаем, Боже!
Вот так мы берём города!

Не то чтобы матушке в письмах
С любовью клялась подождать,
А просто бы не было смысла
И войны тогда затевать.

И, спешно готовя к отправке
Лежачих в бреду и во сне,
Желать им поправки. Поправки
На нашу победу в войне.

А всё ж и Тебе, бедолага,
Так хочется лично порой
За пазуху сунуть бумагу
С диагнозом кратким: «Живой».

13.

«Лётчики служили рядом — сорвиголовы. Рискуя жизнью, такие фортели на самолётиках выписывали. Мы присесть едва успевали, а они прямо над головой пролетают. Мы им: „Посмотрите, вас за хулиганство уже и орденов лишили...“ А они в ответ на гимнастёрки свои показывают: „А вот они, все наши ордена...“

Там и правда следы на выгоревшей ткани от орденов оставались...»

Всех убогих подчистили из медсанбата,
Потому что войне не хватает солдат.
Мы латаем их накрепко, если — заплата.
Мы хороним их наскоро, если — спешат.

Или рай на земле, или ад под землёю.
Мы идём по Европе, и стало быть — рай.
Этот путь из варягов такую петлёю
Провихлял по Руси — хоть старух призывай.

Далеко за кордон перешли перестрелки,
Так что птицы немецкие хором молчат.
Мы со смертью играть научились в гляделки,
Медсанчасть обезлюдела, стало быть — ад.

Примеряет Господь к нам свои ипостаси,
И свои подземелья раскрыл сатана.
Как на тропе, висят наши души на трассе,
Перед смертью бессильные, как ордена.

14.

«Мы свои сто грамм шоферам отдавали; мы им сто грамм, а они нам какие трусики, бельишко привозили, один солдат мне юбку подарил. А когда в Германии по домам разрушенным ходили, так обязательно, если видишь туфельку какую шикарную, так ни за что пары её не найдёшь.

Я тоже, как ты, однажды спросила. А у нас была одна женщина-санитарка, она отвечает: „Да ты что! Разве я их звала на мою землю? Они меня оставили разутую, раздетую, голодную. Детей моих!“

Наш начальник хозяйства по дороге на Берлин увидел на поле стадо коров. Паслись мирно, никого не трогали. Аон из крестьян, с Украины. В Берлин мы входили впереди этого стада. Что ты, это же такое богатство было! Да и он по всей армии прогремел. Чуть не арестовали».

Осень дивная. А майору — швах:
Просыпается чувство долга...
ППЖ на сносях,
Но до родов долго.
Отволтузили земляки,
Расписался чтобы.
И — на выбор особняки,
И — любовь до гроба.

Сорок пятый год.
У жены живот.
Спит Берлин под Богом.
Спит жена под боком,
Узаконенная в разы,
И серёжки из бирюзы.

Вот такой поворот в судьбе.
На балконе, могуч и гарен,
На раз-два в спортивной ходьбе
Просыпается русский барин.
Женщина переворачивается и хлопком
Прижимает к ушам подушку
(Ту самую). Жаль, трофейный дом
Не запихнуть в теплушку
И не перевезти в Москву.
У трофеев
Запах сырости, и в хлеву
Теплей.

«Тимофеев! —

Окликает хозяин водителя. — Заводи — и в штаб».
Облетают летние листья в аллее.
Он думает: «От трофейных баб
Теплее,
Да полно сифиличек...» Крестьянский отпрыск,
Прижимист, хваток,
По аллее проходит, ставит оттиск
Каблуков на бульжниках, вспоминает хаток
Белёных весёленькое соцветье,
Прогулки к тыну:
Если б не лихолетье,
Сосватал бы ту Галину
Из родного Несваткова...

У комендатуры

Голодные фрицы и фрау ждут халтуры,

Побатрачить не грех, а скорее — счастье,
Миролюбива измученная людына.
И много ещё работы, много работы в этой части
Берлина.

15.

«О скором завершении войны мы узнавали одними из первых, раненые рассказывали. Они с поля боя к нам поступали: кому, как не им, это знать? Говорили, победа на днях будет, а сами — раненые.

В первый день Победы мы с девчонками заперлись у себя и надели гражданскую одежду — те самые выменянные на спирт и сигареты вещицы, которые мы таким образом выменивали везде, где можно, — очень уж хотелось что-то из мирной жизни: платья, белишко, туфли, чулки. Причесались, привели себя в порядок и вышли на крыльцо.

Всё вокруг замерло. И потом раздались такие восторженные крики, как будто мы и есть Победа. Майор развёл руками: они никогда нас такими не видели.

Рейхстаг ещё дымился, когда мы пришли к нему. Он казался огромным, величественным и уходил куда-то ввысь. Мужчины вставали один другому на плечи. Мы тоже хотели расписаться, но не доставали».

То не спится, то придёт мертвецкий
Сон чужой, прокрученный не раз.
Снится, снится остров Мазовецкий,
Где поляки обстреляли нас.

Побросав манатки у колодца,
Пулю-дуру силимся понять:
Разве мы солдаты, полководцы,
Душегубы, воры, вашу мать?!

Шли себе по воду беспонтово,
Тёртый, нецелованный народ.
Что ж вы в крест стреляете, панове?
Он же не железный, не спасёт.

Он краснеет на груди неброско,
Так Господь клеймит своих овец.
Матка Боска! Где ты, Матка Боска?
Да уйми же ты их, наконец.

Но пока ползёт сюда подмога,
Просыпаюсь я в заёмном сне.
Пусть все уцелеют, ради Бога,
Им остался месяц на войне.

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Вот каталка, вот лежанка. Телевизор в холле.
Вот старушка-партизанка корчится от боли.
Ветеранская больница, за окном метели.
Это вам не Ницца-дрица, мирные мотели.

Без надежд и дальних планов, с синяком на венке
Вереницы ветеранов ползают по стенке.
Вроде в чём-то виноваты перед персоналом,
Видя белые халаты, молкнут всем кагалом.

Но, похоже, ближе к ночи в общей хирургии
Происходят, Аве Отче, чудеса благие.
Из палаты, той, где Тонька и лежачих трое,
Вдруг доносится тихонько пенье хоровое.

Сколько их? Как будто войско, армия какая...
Всё, ребят, у них героически, даже смерть мирская —
В этом затхлом лазарете, в этом граде Китеж,
Вроде немощны, как дети, а поют, смотрите ж.

Что бы это означало? По приметам тем ли?
Так поют у нас сначала и уходят в землю.
Каждый вечер: аты-баты, как медали в банку,
Набиваются в палату и поют «Землянку».

* * *

Отойди на шаг. На два.
В красный угол.
Видишь, это не дрова.
Это уголь.

Это — недра. Это с шахт
Тянет дымом.
Боже, выходи на шлях,
Помоги нам.

Всё теплей, ещё теплей,
Жарко, меркло.
Не подбрасывай углей
В это пекло.

По углам их разведи,
По майданам:
И с напалмом из груди,
И с метаном.

Кто заломится в бреду
Над сыночком?
Кто поделится в аду
Уголёчком?

Ищет Третьей мировой
Семя жлобье.
Этот уголь — образ твой
И подобье.

* * *

Бабка красит седину.
Затхло время в ней.
Мать писала на войну:
«Забеременей.

Тебя вышлют из полка,
Не убьют в бою,
И останешься пока
Невредимою.

От слюны карандаши
Стали рыжими.
Согреши, мол, согреси,
Только выживи.

Я сама тебе его
В люди вытяну.
Ведь семнадцатый всего,
А ты на войну».

Бабка любит потрындеть.
Чайник на плите.
— Вот умру, такого ведь
Не узнаете...

Авторы



АВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ОЛЕГОВИЧ

Родился в 1980 году в Иркутской области. Окончил журфак ДВГУ в 2002 году. Автор документального романа «Правый руль» (длинный список премии «Большая книга», короткий список премий «Нацбест» и «НОС»), энциклопедии-путеводителя «Глобус Владивостока», фантастической киноповести «Владивосток-3000» (в соавторстве с Ильёй Лагутенко). Печатался в журналах «Знамя», «Москва», «Двина», «Нижний Новгород», альманахе «Рубеж». Живёт во Владивостоке.



БЕЛИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в городе Чусовом Пермской области в 1958 году. Поэт, эссеист, публицист. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор четырёх поэтических книг. Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всероссийский фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013) и общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). В начале 90-х входил в редколлегия журнала «Юность». Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антологии русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени. В настоящее время — собкор «Литературной газеты» Живёт в Перми.



БУЛАВА ИВАН АНТОНОВИЧ

Президент Ассоциации судовладельцев Енисейского бассейна. Родился 16 сентября 1938 года в деревне Слобода Петриковского района Гомельской области Белорусской ССР. Окончил с отличием Омское речное училище по специальности «Судовождение на внутренних водных путях», Новосибирский институт инженеров водного транспорта. С 1959 года работал в Енисейском речном пароходстве: начинал с должности третьего штурмана ледокола «Енисей» Игарского речного порта, был инженером-механиком, капитаном судна; 1975–1981 — начальник Красноярского речного

командного училища; 1981–1983 — заместитель начальника Енисейского речного пароходства по кадрам; 1983–1987 — инструктор отдела транспорта и связи Красноярского краевого комитета КПСС; 1987–1995 — заместитель начальника Енисейского речного пароходства; 1995–2003 — генеральный директор АО «Енисейское речное пароходство» (Красноярск). Заслуженный работник транспорта России (1997); награжден орденом Почёта (1995). Член Союза писателей России.



ВАТУТИНА МАРИЯ ОЛЕГОВНА

Родилась 4 мая 1968 года в Москве. Член Союза писателей Москвы, член Союза писателей России с 1997 года. Автор семи книг стихотворений. Окончила Московский юридический институт (ныне МГЮА, 1995) и Литературный институт имени А. М. Горького (2000, семинар И. Волгина). Первые публикации — в журналах «Молодая гвардия» (1995) и «Русское эхо» (1997). Работала юристом, адвокатом, журналистом, главным редактором юридического журнала. В настоящее время — выпускающий редактор правового журнала. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Волга», «Новый берег», «Современная поэзия», «Кольцо „А“», «Поэзия», «Улов», «Сетевая поэзия»; в альманахах и сборниках. Рассказы включены в сборник молодых писателей «Идея соловья» (1999), стихи вошли в Антологию новейшей русской поэзии «Девять измерений» (2004). Победитель Всероссийского конкурса молодых поэтов Русского ПЕН-центра «Неизвестные поэты России» (2000). Лауреат Волошинского конкурса (2004), дипломант 2006, 2007 годов. Второе место в конкурсе «Заблудившийся трамвай» (СПб, 2007). Лауреат Специальной премии «Московский счёт» (2009), премии «Antologia» (2010), Международной Волошинской премии за книгу «На той территории» (2011), Бунинской премии (2012), премии журнала «Октябрь» (2012), почётный диплом премии «Московский счёт» — «Лучшие книги 2013 года».



ВЕРЯСОВА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Родилась в 1985 году в Норильске. Жила и училась в Красноярске, ныне — в Москве. Работала журналистом. Лауреат Илья-Премии 2009 года, лауреат премии «Пушкин в Британии» 2013 года, стипендиат премии имени Николая Рубцова. Участвовала в ликвидации последствий наводнения в Крымске в 2012 году, на основании этих событий написана документальная повесть «Муляка», которая была опубликована в журнале «Волга» и вошла в лонг-лист премии «Повести Белкина» в 2012 году. Публиковалась в журналах «День и ночь», «Октябрь», альманахе «Пятью пять». Автор книги стихов «Гипогликемия» (2008).



ГУЛЯЕВА ОЛЬГА

Родилась в 1972 году в городе Енисейске. Окончила психологический факультет Красноярского педагогического

университета. В 2010 году заняла второе место в краевом литературном конкурсе «Король поэтов», по итогам конкурса издана книга стихов «Бабыня песня». В 2013 году победила в поэтическом конкурсе «Канский лёд». Дипломант номинации «Поэзия» премии имени И. Д. Рождественского (2013). Стихи публиковались в журнале «День и ночь», коллективных литературных сборниках.



ГУТОВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА

Родилась 17 апреля 1998 года в селе Родино Родинского района Алтайского края. С 12 лет занимается в литературном клубе «Поэтическое слово». Первая большая работа — фантастическая повесть «Страна Огуреция» — принесла ей успех. В 2010 году стала дипломантом 3 степени VII Московского открытого конкурса детско-юношеского литературного творчества «Волшебное слово». «Сказка о коте Ваське, голубке и волшебной диадеме» сделала её абсолютным победителем в литературном конкурсе «День енота-2011» (Новосибирск). С 2012 года Ксения обращается в основном к поэзии. Тематика её стихотворений — любовь, размышления о жизни, Родина. В 2014 году она получает диплом за 1 место в краевом конкурсе детского творчества «Сохраним биосферу» в номинации «Слово о природе». Темы родной земли, предназначения человека характерны для произведений последних лет. Много работает в жанре поэтических зарисовок («О времени и о себе», «Что значат слова», «Я из будущего» и др.). О судьбе русской деревни, страны в целом — её последняя работа «Опять петухи во дворе раскрылись».



ЕРЁМИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1943 году в городе Свободном Амурской области. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Автор многочисленных поэтических сборников и книг прозы. Лауреат премии «Хинган». Победитель конкурса «День поэзии Литературного института-2011» в номинации «Классическая лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» имени Н. А. Некрасова. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Бийский вестник», «Вертикаль» (Нижний Новгород), «Огни Кузбасса», «Провинциальный интеллигент», «Интеллигент» (Санкт-Петербург), «Русский берег» (Благовещенск), «Флорида» (Майами, США), «Лексикон» (Чикаго, США) и др. Член Союза писателей СССР, Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.



ЕРМОЛАЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась в 1963 году в Красноярске-26 (ныне Железногорск). В 1986 году окончила Московский энергетический институт. Работала инженером-технологом в Санкт-Петербурге. В 1991 году вернулась в родной город, работала контролёром ОТК на горно-химическом комбинате, затем экономистом.

Стихи начала писать в 1990 году. В 1992 году стала лауреатом краевого поэтического фестиваля, в 1999-м — заочного поэтического семинара «Белый лист» на «Радио России». Стихи печатались в антологии поэзии ЗАТО, сборнике «Поэзия на Енисее», альманахе «Новый Енисейский литератор», журналах «День и ночь» (Красноярск), «Южная звезда» (Ставрополь), «Новый журнал» (Нью-Йорк, США). Изданы поэтические сборники «Зов свирели» (1998), «Миг изумленья» (2000), «Светящиеся ноты» (2003), «На окраине Вселенной» (2004). Член Союза российских писателей. Живёт в Железногорске.



ЕРОШИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Родился 8 марта 1972 года в селе Ленинское Новосибирской области. Окончил Тогучинский лесохозяйственный техникум. В 1996 году поступил на отделение кино-видеотворчества в Новосибирский областной колледж культуры и искусств. В трудные времена работал столяром, сторожем и даже дворником. В настоящее время работает дизайнером, в свободное время пишет.



ЗАМЫШЛЯЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Родился в 1938 году. Работает в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени М. Ф. Решетнёва с октября 1991 года. Заслуженный работник культуры РФ. Награждён почётной медалью имени К. Э. Циолковского. Член Союза журналистов России, Союза писателей России.



ЗАХАРЧУК ЕВГЕНИЯ

Родилась 14 декабря 1999 года в Красноярске. В первом классе написала первое стихотворение, потом увлеклась журналистикой и прозой. Участвует в различных литературных конкурсах, оканчивает музыкальную школу. Живёт в Железногорске.



КАРНАУХОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ (1926–2008)

Родился в 1926 году в селе Кежма Красноярского края. Участник Великой Отечественной войны. Был ранен. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью «За отвагу». Окончил Томский университет. Много лет работал директором школы. За составление словаря ангарского говора награждён медалью Пушкина. Ушёл из жизни в 2008 году.



КОВАЛЕНКО ПЁТР ПАВЛОВИЧ (1923–2013)

Родился в Ужурском районе Красноярского края. Участник Великой Отечественной войны, инвалид ВОВ 2-й группы. Имеет шесть боевых орденов и медалей. Вернувшись домой, всю жизнь прожил на станции Крутояр Ужурского района Красноярского края и сорок семь лет проработал на Красноярской железной дороге. Ветеран труда; имеет трудовые награды. Писать стихи и публиковать их в газетах начал со школьной

скамьи, с довоенных лет. Автор семнадцати поэтических сборников. Много печатался в центральной и краевой прессе. Член Союза писателей России. С 2010 года жил в Красноярске.



КОКШЕНЁВА КАПИТОЛИНА АНТОНОВНА

Российский литературный и театральный критик. Старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Заведующая кафедрой журналистики Института бизнеса и политики, доктор филологических наук.



МЕЛЬНИЧЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Родился 28 февраля 1953 года в посёлке Усть-Мая Якутской АССР. Десятилетку окончил в селе Шеломки Красноярского края, затем — Красноярский политехнический институт. Участник нескольких краевых семинаров и IX Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве (1989). Автор сборников «Фанера-2» и «Фанера-3» (Красноярск-26, 1991), «Фанера-5» (Красноярск, 2001), «Кирпичи» (2008), «Провода» (2012), «От Змеи до Змеи» (2013). Участник многих коллективных сборников и антологий. Член Союза российских писателей. Живёт в Железногорске.



НЕХАЕВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1955 году. В литературе — первая публикация. В журналистике — победитель и призёр более тридцати творческих конкурсов. Дипломант премии имени А. Д. Сахарова «За журналистику как поступок». Лауреат премий за журналистские расследования имени Артёма Боровика «Честь. Мужество. Мастерство», «Лучший журналист Сибири», «За высшее профессиональное мастерство». Неоднократно занимал первые места в международных конкурсах «Родная речь» и «Живое слово» за лучшие материалы о русском языке и на русском языке. Удостоен звания «Золотое перо России» и высшей награды Союза журналистов РФ «Честь. Достоинство. Профессионализм». Живёт в Зеленогорске.



НЕСТЕРЕНКО ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ

Член Союза журналистов СССР, Союза писателей России. Печатался в ряде журналов, альманахов и коллективных сборников, изданных в Туве и Красноярске, автор более десяти повестей и романов. Три книги для детей и юношества напечатаны ещё при советской власти. Трилогия «Перекати-поле» о судьбе поволжских немцев опубликована в библиотеке журнала «Енисей» в 2006 году. В 2008 году трилогия издана в Москве. В 2009 году в дополненной редакции трилогия в четвёртый раз издана в Красноярске и переведена на немецкий язык в Германии. В 2006 году стал редактором и автором ежегодного альманаха «Истоки». Автор детских литературных порталов «БрайлЛенд» и «Я САМ» Международного творческого объединения детских авторов (МТО ДА). Живёт в селе Сухобузимское Красноярского края.



ПЫРХ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Родился 22 января 1944 года в Запорожье (Украина). После окончания в 1962 году Запорожского металлургического техникума работал отжигальщиком термических печей на заводе «Запорожсталь». Затем — три с лишним года в армии, снова завод. В 1972 году с отличием окончил очное отделение факультета журналистики Уральского государственного университета и выбрал в качестве свободного распределения для себя Европейский Север. Работал корреспондентом, заведующим отделом промышленности и собственным корреспондентом республиканских и центральных газет. С 1987 года — в Красноярске, где до 2005 года работал корреспондентом газеты «Трибуна» (прежде — «Рабочая трибуна» и «Социалистическая индустрия»). Автор более двух тысяч газетных публикаций различных жанров, двух десятков статей в толстых журналах, а также нескольких книг публицистики, изданных в Москве и Сыктывкаре, шестнадцати поэтических сборников и трёх книг документальной прозы.



СЕЛЯНИНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1935 году в городе Заозёрном. Окончил лесоинженерный факультет Сибирского лесотехнического института. До выхода на пенсию в 1995 году работал на стройках края. Автор книг «Очень хочется умереть» и «Земля трясётся». Публикации в журнале «День и ночь», других журналах и газетах. Член Союза российских писателей.



СЕНЧИН РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

Родился в 1971 году в городе Кызыле. Родители — служащие, которые и в советское время, и позже были вынуждены заниматься и крестьянским трудом. В 1989 году окончил школу. Учился в строительном училище в Ленинграде, затем служил в пограничных войсках в Карелии. Вернувшись на родину, поступил в 1992 году в Кызылский пединститут, но через несколько месяцев бросил. Летом 1993 года семья переехала на юг Красноярского края, в село Восточное. Небольшое время учился в краевом училище культуры в Минусинске. Первые рассказы опубликовал в минусинских, абаканских и кызылских газетах и журналах в 1995 году. В 1996 году поступил в Литературный институт (семинар А. Е. Рекемчука). Дебютировал в центральной печати весной 1997 года (еженедельник «Литературная Россия», журнал «Знамя»). С тех пор публикуется в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Наш современник», «Дружба народов», «Сибирские огни», «День и ночь», «Урал», «Абакан литературный» и других изданиях. Автор нескольких книг, в том числе «Афинские ночи» (2000), «Минус» (2002), «Нубук» (2003), «Вперёд и вверх на севших батарейках» (2008), «Московские тени» (2009), «Ёлтышевы» (2009), «Иджим» (2010), «На чёрной лестнице» (2011), «Тува» (2012), «Чего вы хотите?» (2013). Рассказы и повести переведены на немецкий, английский, шведский, финский,

арабский, испанский языки. Лауреат премий еженедельника «Литературная Россия» (1997), журналов «Кольцо „А“» (2000), «Знамя» (2001), «Урал» (2010), премий «Эврика» (2002), «Венец» (2006), Горьковской (2011), Правительства Российской Федерации (2012). Шорт-листы премий имени Юрия Казакова (2006), «Ясная Поляна» (2009), «Русский Букер» (2009), «Национальный бестселлер» (2010), «Большая книга» (2010), «Русский Букер десятилетия» (2011), «Золотой Дельвиг» (2012).



ТАРКОВСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский поэт и писатель, около 30 лет живущий в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Родился в 1958 году в Москве. После окончания пединститута имени Ленина (отделение «География-биология») уехал в Туруханский район, где работал сначала полевым зоологом, а позже охотником. Автор рассказов, повестей и очерков о жизни таёжных охотников и рыбаков, жителей Енисея. Член Союза писателей России. Лауреат ряда литературных премий: журналов «Наш современник», «Роман-газета», Соколова-Микитова, Шишкова, «Ясная Поляна» имени Л. Н. Толстого и других.



ШОРОХОВ АЛЕКСЕЙ

Родился в 1973 году в Орле. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького и аспирантуру. Поэт, публицист, арт-критик. В центральных литературных изданиях России регулярно публикуется с 1994-го, за рубежом — с 2005 года. Выступает как публицист и художественный критик на интернет-порталах «Русский писатель», «Русская народная линия», «Народный политолог». Автор нескольких книг стихов, публицистических статей и фельетонов, изданных в Орле, Москве, Белграде на русском и сербском языках. Член Союза писателей России, с 2004-го — секретарь правления Союза писателей России. Почётный член Союза писателей Сербии. Живёт и работает в Москве и в своём деревенском доме в Отраде (Орловская область).



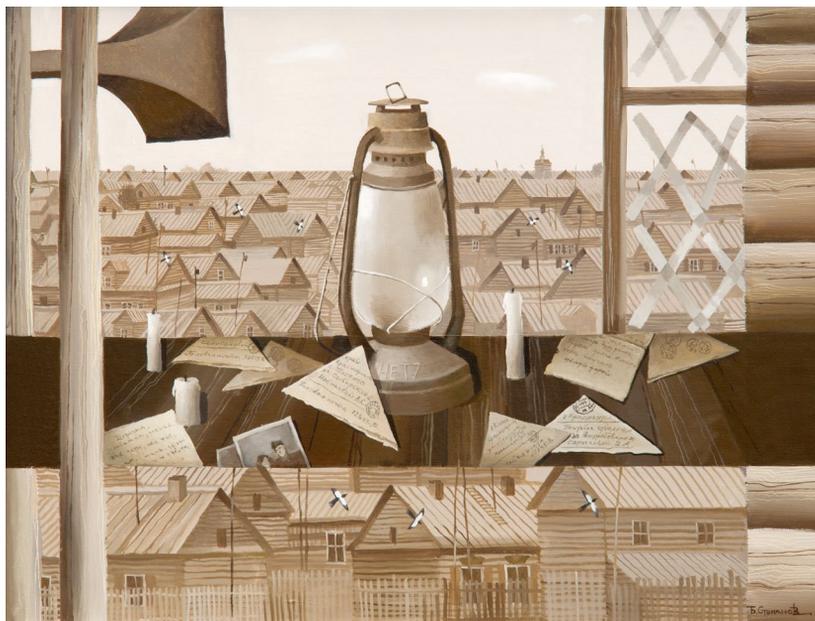
ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ

Родился в 1939 году в селе Таскино на юге Красноярского края. В различных вузах окончил с отличием факультеты истории и филологии, экономики и журналистики. Работал учителем, журналистом, редактором Красноярского книжного издательства. В 2003–2007 годах возглавлял Красноярское региональное отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, изданных в Москве и Красноярске. Печатался во многих журналах СССР и России. Заслуженный работник культуры РФ. Академик Петровской академии наук и искусств. Лауреат региональных и российских журналистских и литературных премий. Награждён медалью «За трудовую доблесть», почётными знаками «300 лет российской прессы», «100 лет М. А. Шолохову», «Золотое перо» и др. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Живёт в Красноярске.

«Поклонимся великим тем годам»

Краевая художественная выставка, посвящённая
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

16 апреля — 5 мая 2015 года, МВДЦ «Сибирь»



Борис Степанов | Письма с фронта | 2015



Лариса Гурьева | Катюша | 2015



Юрий Корнилов | В Берлине | 1980



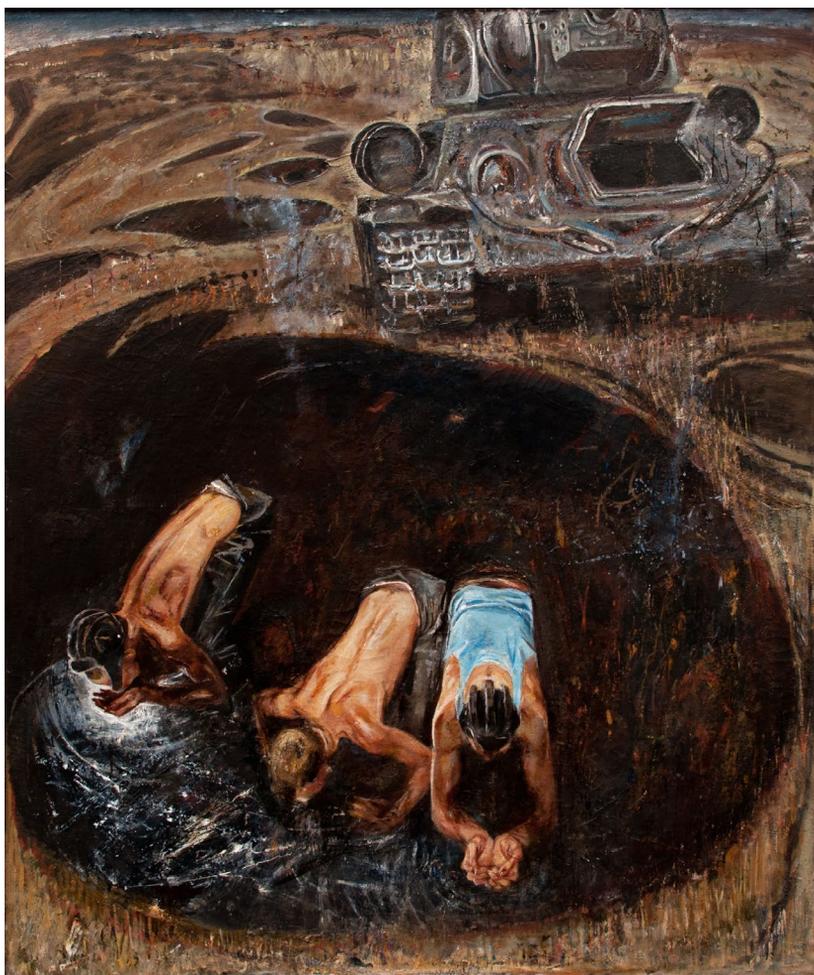
Юрий Корнилов | На защиту Родины | 1978



Юрий Корнилов | У поверженного Рейхстага | 1989



Евгений Кобытев | Рейхстаг пал



Анатолий Знак | Три танкиста | 1975



Дмитрий Каратанов | Партизанская засада | 1940-е



Гертруд Лейзаренко | Последнее воскресенье. 22 июня | 1984



Юрий Корнилов | Блокадная зима (У печки) | 1975



Александр Калинин | Диксон. Память войны



Виталий Зотин | Огород | 2015



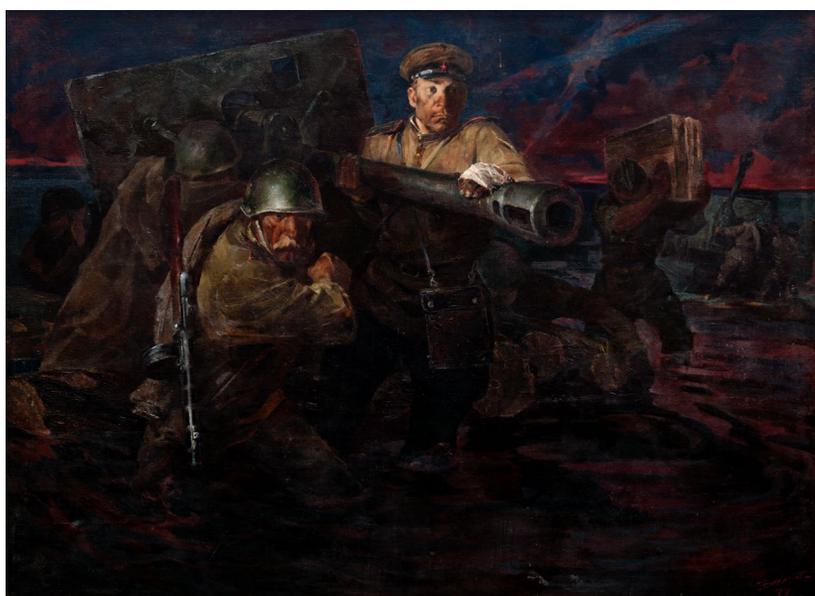
Сергей Горбатко | Затишье | 1998



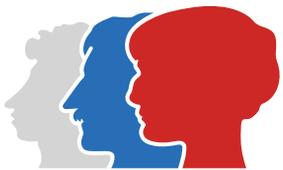
Юрий Корнилов | На новые рубежи | 1991



Александр Ключев | Солдаты | 1995



Борис Бельй | Батарея Героя Советского Союза А. В. Водяникова | 1977
при форсировании р. Днепр



ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

2015



ПОБЕДА!
70 ЛЕТ